

Нам - 85!

ISSN 0012-6756



**Дружба  
народов**

**6/2024**



## **В номере:**

### **Формула счастья**

Повесть Мадины ХАКУАШЕВОЙ «Страна Насып» — о поисках мальчиком-подростком формулы счастья. Он ищет его рецепты в стоической любви матери, в воспоминаниях об исчезнувшем отце и в его сохранившихся записях, в житейских и религиозных представлениях няни-христианки и бабушки-мусульманки. От тягот обыденности и тяжести воспоминаний Берд бежит из дома — в поисках отца, в гибель которого он отказывается верить... В повести отражены проблемы и чаяния современных кабардинцев (восточных черкесов), проявляемые и проговариваемые автором-соотечественником, что даёт возможность приблизиться к пониманию действительности этой части Северного Кавказа, во многом ещё остающегося terra incognita...

### **«Жизнь заживляет раны»**

Стихи Олеси НИКОЛАЕВОЙ — об экзистенциальном выборе, который предстоит сделать «нам, искушённым в высоком и низком»: «пойдёшь направо — там страх за свалкой,/ пойдёшь налево — там жуть и швах», — ошибиться нельзя, иначе будет «бесплодно и беззвёздно, и в полный рост не встать».

«Память-диспетчер» возвращает Веру ЗУБАРЕВУ в родной дом и город, который не любить нельзя, потому что «все дороги ведут в Одессу,/ Что бы там ни рассказывал Рим...»

Но всё-таки «память это не камни», уверена дебютантка «ДН» — молодая поэтесса Наталья БЕЛОЕДОВА из Ташкента. Только вот беда: «А я не могу вспомнить лица», «не замечаю птиц в окне/осень дрожащую в листве/воду замёрзшую в ручье/и ещё много чего не...»

Евгений СТЕПАНОВ, напротив, хранит в памяти родные лица (это название стихов) и признаётся в любви и благодарности — своей семье, книгам и травам, земле и Небесам: «Я божья тварь средь божьих тварей./ Роднѣй считаю каждый куст./ И Фрост со мной, и Пруст на полке,/ И Блок, похожий на Христа./ И эти сосны, эти ёлки.../ И облачная высь чиста».

### **Василь Быков 100+**

Он ненавидел войну — и всю свою жизнь писал о войне.

Но «Дожить до рассвета», «Сотников», «Атака с ходу», «Мёртвым не больно», «Знак беды» — это были книги не только о прошлом. Он писал о нас тогдашних и нас сегодняшних. «От умения жить достойно очень многое зависит в наше сложное, тревожное время. В конечном счёте именно наукой жить достойно определяется сохранение жизни на Земле. Жить по совести нелегко.

Но человек может быть человеком и род человеческий может выжить только при условии, что совесть людская окажется на высоте...» К столетию со дня рождения Василя БЫКОВА в рубрике «Золотые страницы “ДН”» — главы из его биографической книги «Долгая дорога домой» и повести «Знак беды».

### **Героини нашего времени**

«Об этом пишутся статьи и устраиваются дискуссии. На последней, весенней, ярмарке “Non-fiction” даже провели паблик-ток “Как женщины меняют современную литературу”. Выяснилось, что меняют. Моя задача в этой рубрике, как всегда, скромнее. Не все женщины — а молодые, дебютировавшие совсем недавно. <То, как они> отражают современные социальные и прочие реалии. О новом герое, который входит вместе с ними в литературу». В центре внимания Евгения АБДУЛЛАЕВА — пять героинь, пять историй жизни, способов реализации, моделей семьи и отношений, во многом похожих друг на друга. Осуждать их не таяет, но и сильно сопереживать — тоже, признаётся критик: возможно, потому что в них самих мало любви и сопереживания.

# Дружба народов



*Независимый  
литературно-художественный  
и общественно-политический журнал*

*Основан  
в марте 1939 года*

## *Редакционная коллегия*

Адрес редакции:  
117218, Москва,  
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,  
журнал «Дружба народов»  
Телефон (многоканальный):  
8-499-519-02-12

**E-mail:** [dn52@mail.ru](mailto:dn52@mail.ru),  
**Сайт журнала:**  
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:  
Congress Consulting.  
Свидетельство о регистрации  
№ 73 от 14.09.1990 г.  
в Министерстве печати  
и массовой информации РСФСР.  
Свидетельство о регистрации  
товарного знака № 288681.  
Зарегистрировано в  
Государственном реестре  
товарных знаков и знаков  
обслуживания РФ  
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в АО «Первая образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности  
рецензировать и возвращать  
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического  
брака в экземплярах журнала  
обращаться в типографию, указанную  
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов  
ссылка на журнал «Дружба народов»  
обязательна.**

Сдано в набор 20.04.2024.  
Подписано в печать 22.05.2024.  
Формат бумаги 70 x 108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Печать офсетная.  
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.  
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.  
Заказ . Цена свободная.

*Главный редактор* Сергей  
НАДЕЕВ  
Леонид  
БАХНОВ  
Ирина  
ДОРНИНА

*Ответственный секретарь* Елена  
ЖИРНОВА

*Первый заместитель главного редактора* Наталья  
ИГРУНОВА

Галина  
КЛИМОВА  
Владимир  
МЕДВЕДЕВ

*Заместитель главного редактора* Александр  
СНЕГИРЕВ

## *Редакционный совет*

Мария  
АНУФРИЕВА  
Сухбат  
АФЛАТУНИ  
Муса  
АХМАДОВ  
Ольга  
БАЛЛА  
Дмитрий  
БИРМАН  
Ольга  
БРЕЙНИНГЕР  
Денис  
ГУЦКО  
Фарид  
НАГИМ  
Илья  
ОДЕГОВ  
Валерия  
ПУСТОВАЯ  
Ренат  
ХАРИС  
Александр  
ЧАНЦЕВ  
ЭЛЬЧИН



**ПРОЗА И ПОЭЗИЯ**

Олеся НИКОЛАЕВА. Притча. <i>Стихи</i> .....	3
Мадина ХАКУАШЕВА. Страна Насып. <i>Повесть</i> .....	9
Владимир ПАНКРАТОВ. На пределе сердца и рассудка. <i>Стихи</i> .....	77
Урмат САЛАМАТОВ. Дуккха. <i>Повесть</i> .....	81
Наталья БЕЛОЕДОВА. Память это не камни. <i>Стихи</i> .....	122
Алла ДУБРОВСКАЯ. Дракоша и дешёвый самохвал. <i>Рассказ</i> .....	124
Валерий ПИСКУНОВ. Меж гор Бештау и Железной. <i>Рассказ</i> .....	143
Вера ЗУБАРЕВА. Письмо домой. <i>Стихи</i> .....	160
Игорь МАЛЫШЕВ. Певчая птица. <i>Рассказы</i> .....	162
Пётр ВОРОТЫНЦЕВ. Пост в запрещённой соцсети. <i>Рассказы</i> .....	169
Мехти САФАРОВ. Никто не умрёт. <i>Страницы из романа</i> .....	177
Мария ДАВЫДЕНКО. Два рассказа .....	185
Евгений СТЕПАНОВ. Родные лица. <i>Стихи</i> .....	192

**ВАСИЛЬ БЫКОВ. 100+**

«Осенью 43-го присвоили звание младшего лейтенанта».

*Вступительная заметка Натальи Игруновой*

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ «ДН»

Василь БЫКОВ. Долгая дорога домой. *Отрывки из книги. С белорусского.*

*Перевод Натальи Игруновой* .....

Василь БЫКОВ. Знак беды. *Главы из повести. С белорусского. Перевод автора* 204

**ПУБЛИЦИСТИКА**

Алексей БУРОВ, Геннадий ПРАШКЕВИЧ. О другом собеседнике,

о космическом религиозном чувстве. *Два письма на одну тему* .....

**КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА**

Вера КАЛМЫКОВА. На уровне крови. *О художнике Артёме Киракосове* .....

**ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ**

«Вот все входят в храм...» *О романе Сухбата Афлатуни «Великие рыбы»*

*размышляют Геннадий КАЛАШНИКОВ и Ольга БАЛЛА* .....

**NON-FICTION PRO**

Александр ЧАНЦЕВ. Теория вечности, в будущем и прошлом .....

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР**

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Молодая, свободная, травмированная .....

**ПРАВИЛА ИГРЫ**

Борис МИНАЕВ. Что-то нормальное .....

**НА НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ**

Художник Артём КИРАКОСОВ

**Summary** .....

*Олеся Николаева*

## Притча

### *Волчье лыко*

Я вынесла злое из сердца  
и в землю зарыла в саду.  
И выросло там волчье лыко  
с Иудиным деревом в роду.  
И, каплям кровавым подобной,  
там ягоды волчьей раскрас,  
алеющей да несъедобной,  
а всё вожаденной для глаз.

Но нам, искушённым в высоком  
и низком, — сиянье сквозит.  
И ядом, разбавленным соком,  
нам волчий оскал не грозит.  
Когда не внутри, а снаружи  
отравленное вещество,  
путь сердца всё уже и уже  
в блаженной свободе его.

### *Старуха*

Плачется старуха на чужой стороне,  
жалуется Солнцу, жалуется Луне,  
жалуется снегу, жалуется траве —  
угнездились жалобы в голове.

Угнездились жалобы, вывели птенцов:  
перья алюминиевые, клюв свинцов,  
до крови цепляется коготок, —  
тянет тучи с запада на восток.

---

*Николаева Олеся Александровна* — поэт, прозаик, эссеист. Профессор Литературного института им.А.М.Горького. Автор многочисленных книг стихов, прозы и эссе. Лауреат многих литературных премий, в том числе Национальной премии «Поэт» (2006). Постоянный автор «Дружбы народов». Живёт в Перedelкине.

Что тебя, старуха, занесло сюда?  
Колесница Чёртова? Чёрная вода?  
Жизнь свою чужбине отдала на слом  
и гребёшь по гравию сломанным веслом.

Горделивы жалобы и мелка корысть,  
эти хлебы каменные дёснам не разгрызть.  
Мертвенны признания, пусты кульки,  
и слабы старушечьи кулаки.

### *Притча*

Все закричали: ужас!  
Стали грозить кулачком.  
Рядом легли на землю с чёрным лицом  
ничком.  
Ветер шевелит волосы, темя, словно свинец.  
Но это ещё не всё, не то ещё, не конец!

Стали грызть серые камни,  
думая, это — хлеб.  
Стали искать укрытье, шаря глазами: где б?  
И заливаться слезами, думая: не жилец.  
Но это ещё не бездна,  
это ещё не конец

Стали сдаваться, плакать, каяться пред врагом,  
бить себя в грудь, предлагая:  
наступи сапогом.  
Стали бояться света,  
в грязь упирать крестец.  
Прыгать на нём, но это  
всё ещё не конец.

Как не конец? А что же?  
Всюду тупик, замок.  
Прячется жизнь в рогоже,  
дух, скорбя, изнемог.  
Кто это уверяет, разуму вопреки,  
якобы мы не видим дальше своей руки?

Выше своих амбиций, страхов, тоски, алчбы,  
глубже подножного корма, шире своей избы.  
Якобы мы не слышим собственное вчера,  
тоньше мышиноного писка, зуммера комара...

Кто это навевает по ветру несколько строк?  
Кто это напевает: всё это — лишь пролог?  
Только зачин для притчи, а притча сама, как взвесь,  
всюду свои подсказки поразбросала здесь.

### *Чужбина*

Не примут за дочь, не сочтут за сына,  
а пасынкам жаловаться не велят.  
Враждебная сторона — чужбина,  
куда Макар не гонял телят.

Ни сочных пажитей, ни цветенья,  
гордыни горечь так горяча,  
да вот с неё не разжечь поленья,  
и к сердцу нет у неё ключа.

Когда следишь за людским базаром  
и видишь: тот спёкса, а тот завял,  
тогда понимаешь, что нет, недаром  
сюда Макар телят не гонял.

Пойдёшь направо — там страх за свалкой,  
пойдёшь налево — там жуть и швах:  
судьба становится приживалкой  
при чуждых духах в чужих домах.

А всё — неверный выбор всего лишь:  
осечка, промах, провал, угар,  
когда туда себя приневолишь,  
куда телят — ни один Макар.

Не то чтоб прятки были иль жмурки,  
хоть стой, хоть падай, в себе тая,  
чужие песни, слова, окурки  
вплетая в образы бытия.

### *Зимней ночью*

Вьюга не успокоилась.  
Город зарылся в снег.  
Наша земля устроилась  
за полночь на ночлег.  
И Танатос высматривать  
вышел, брать сыновей,  
чтобы качать-заматывать  
их тела до бровей.  
И дочерей в метельную  
ночь пришёл выбирать,  
петь свою колыбельную  
да в лицо целовать:

«Сразу в мои объятия можешь спокойно лечь,  
так не дразни Танатоса, Эросу не перечь.  
В этом холодном городе мы сегодня одни,  
так не хули Танатоса, Эроса не гони.  
Ты из лихого времени — так себе, персть в горсти,  
так не лукавь с Танатосом, с Эросом не крути.  
Вся из телесной немощи, страха, земной грязи,  
так не дури Танатоса, Эросу не дерзи.  
Спрячу от стрел язвительных между летящих стай,  
так не грози Танатосу, с Эросом не играй.  
Я твоё тело бережно отделию от души,  
так не суди Танатоса, Эроса не смещи.  
Стали мы двуедиными  
ныне, присно и впредь,  
Божьми паладинами  
славя Любовь и Смерть.  
Как своё дело сделаю,  
то, уходя в зарю,  
душу живую, целую  
преподнесу Царю».

## *Диптих*

### *1*

Руки есть у него, да камень, словно магнит,  
ноги есть у него, да напрочь вросли в гранит,  
губы есть у него, да замурован рот,  
есть глаза у него, да сам он слепой, как крот.

И застыл такой — одна кепка на голове,  
а другая кепка в руке.  
И в туманном утреннем молоке  
оставляют голуби метки на рукаве.

Указует палец — на абортарий ли, на обком,  
вытрезвитель ли, крематорий, тюрьма, дурдом.  
На кривой козе не объехать, чтоб только не  
натолкнуться на истукана в моей стране.

Говорят про этого идола: он — колдун!  
От него лихоманка в народе и колотун.  
От него золотуха, лишай, слабоумие, порча, вша.  
От него то шиш, а то и нет ни шиша.

От него зловещий адреналин  
заполняет щели низин, долин,  
разъедает останки мёртвых, а кто живой  
ублажает демона с пёсьею головой.



## 2

...Говорят, Россию в давние времена  
для себя у Бога выпрашивал сатана.  
И как будто бы Бог ему отвечал:  
— Мала  
власть твоя — влезай в людские дела,  
забирай владенья, скотам уготовь падёж,  
отравляй озёра, губи недородом рожь,  
вся-то воля твоя — на Волге, Днестре, Оби, —  
души только христианские не губи!

И тогда тот врубил над Россией кровавый душ,  
сотворил ей кумира — ловца человеческих душ,  
затуманил глаза и трупный пустил душок,  
да зашил, как покойника, её память в чёрный мешок.

Во Вселенной идол — ничто, он и мёртв, и мал,  
а Святой Руси седьмой позвонок сломал.  
Это древний Иеремия плачет в руки свои:  
— Человеческий Сын, оживут ли кости сии?

Отвечает Сын Человеческий бурей, громом, грозой:  
— Претерпел народ мой, осолён кровавой слезой,  
недоверчив и суверен, мелочен, слаб и крив,  
до забав охоч да на помощь ближним ленив,  
и на деньги падок, но плотью прикрыта в нём,  
словно свечка, еле горящая синеватым святым огнём:  
он трепещет, он жжётся, мечется, он всю душу свивает в жгут...

Ибо верен Сын Человеческий в том, что мёртвые — оживут!

### *Рождение прозы*

Тут как на поле бранном, и тьма глядит в упор,  
когда профан с профаном ведут жестокий спор.  
Когда баран с бараном, когда туман, дурман,  
и бьётся с графоманом соперник-графоман.  
Коварство и злодейство, убийственная речь...  
Но не вступай, не смейся, не лезь и не перечь.  
От мнимого всезнайства по воздуху — круги.  
Молчи, таи, скрывайся, спасайся и беги.

Пусть лучше кот учёный, дракон, единорог,  
иль колобок печёный, или куриный бог,  
иль с вороном носатым грач на своих двоих  
реальность воплотят им точь-в-точь по текстам их.  
...Покоцанная нива встречает пришлеца.  
Всё мелко, грязно, криво, ни жеста, ни лица.  
Торчат повсюду уши издохшего осла,  
и оббивают груши уродцы без числа.

Повсюду пятна грима, подмётки без сапог.  
И попадает мимо — по пальцам — молоток.  
А тронешь что — осколком порежется рука,  
и въяве воет волком под рёбрами тоска.  
Бесплодно и беззвёздно, и в полный рост не встать,  
и шепчет бес, что поздно молиться и рыдать.  
Такое разоренье, как будто старый тролль  
на Божие творенье всю злость излил, всю боль.

Разбуженное Лихо лютует в этот час,  
и графоманы тихо скрываются из глаз.  
Такие прототипы, такие типажи,  
что хоть из этой липы словесный мир вяжи.  
Расходятся бараны, расходится туман.  
И прячутся профаны: кто — в повесть, кто — в роман.  
...Жизнь заживляет раны и ключ кладёт в карман.

*Мадина Хакуашева*

## Страна Насып\*

*Повесть*

*Светлой памяти отца и брата посвящаю*

Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас...

*(Лук. 17:20—21)*

Где бы ни оказался, я могу быть счастливым...

*Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления*

### *Счастливая*

Сначала она занимала полдома в каком-то дальнем тихом уголке. Дом был саманный, затенённый с улицы грядой старых клёнов, у самых стен — заросли кустов; среди солидных культурных насаждений, окружавших соседние домишки, беспечно раскинулся дикий зелёный остров. Он подвергался вторжению лишь со стороны мамы, которая без ведома хозяйки выпалывала высокие сочные побеги крапивы с белыми соцветиями, а пушистые сиреневые бутоны бессмертного чертополоха оставяла как оберег. Корзиночки его мясистых цветов на мощном живучем стебле не отцветали до глубокой осени и привлекали медоносных пчёл.

В большой комнате с высоким потолком царил прохладный полумрак летом и сухое тепло зимой, когда зелёный палисадник вокруг Лялиного дома становился белым.

Весной в открытое окно вторгался дерзкий побег цветущей черёмухи, — её ветви походили на призывные руки в кисейных рукавах, невозмутимо плывущие в струях ветра.

---

*Хакуашева Мадина Андреевна* — прозаик, доктор филологических наук, родилась в 1959 году в Нальчике (Кабардино-Балкарская АССР). Автор романов «Возвращение домой», «Кабардинская усадьба», «Диса» и многих повестей и рассказов. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Вопросы литературы» и других. Живёт в Нальчике.

\* Насып — счастье (*черкес.*).

Журнальный вариант.

Тётя Ляля встречала на пороге, и Берд оказывался заключён в душистые объятия. «*Си шIалэ!* — восклицала она и всплёскивала руками. — *Сыту инышхуи икIи блини ухъуа!*». Она отходила в сторону, оглядывала его с ног до головы, но Берд при этом не чувствовал неловкости, как с другими. Она крепко обнимала маму, тонувшую в мягком кольце рук. «Вылитая Жанпаго! Она была царицей даже в старости!» — приговаривала Ляля, усаживаясь в древнее кресло, обитое выцветшим панбархатом. Разговор, как понимала его тётя Ляля, был не совсем обычным: всё, что она говорила, сопровождалось улыбкой, дробным детским смехом, совершенно не сочетающимся с её высокой статной фигурой. Тётя Ляля походила на девушку в зрелом теле.

Берд вслушивался в её особенные интонации, но не в смысл слов, которые обрамляли Лялин образ, как лёгкое пушистое облако.

Он не знал, что именно заставляло с готовностью соглашаться на визит к ней: её мягкое сияние, высокий смех, странное девичье кокетство или умиротворяющая обстановка просторного дома, почти пустого, который не дружил со временем так же, как сама тётя Ляля. Она была портнихой, белошвейкой и приходилась матери какой-то двоюродной тёткой по отцу.

Её не называли настоящим редким именем Лиц, может, потому, что больше никто его не помнил. Берд стеснялся, когда её изделия деловито разглядывались, обсуждались, — он просто шёл на кухню или на крыльцо, наблюдая за жизнью деревьев, кустов, травы, которым не было дела до людей. Они раскачивались, чутко ловя воздушные потоки, изредка добирающиеся до них через обступившие пятиэтажки, и отзывались взволнованным шелестом. С этим движением воздуха прилетали обрывки еле слышной музыки, принесённые издалека, и острый запах аспидного горячего асфальта, который укладывали где-то неподалёку. Ветерок ненадолго замирал в прозрачных солнечных бликах, разлитых в прогалах кустов, до нового порыва, приносящего другие звуки и запахи обновлённого весеннего города.

Потом Берд перестал краснеть и больше не уходил; бюстгалтеры тёти Ляли были непохожи на магазинные прихотливо скреплённые ажурные чаши из воздушного светлого или цветного гипюра, снабжённые тонкими бретельками с пластмассовыми фиксаторами, мудрёной застёжкой спереди или сзади. Тётя Ляля считала, что они для несерьёзных женщин («Не носи, детка, эти финтифлюшки, ты себе фигуру испортишь!»). Её же изделия были без застёжек и заканчивались двумя простроченными длинными лентами-завязками, сужающимися к концам. Они заводились за спину, охватывали сзади крест-накрест и завязывались спереди, под грудью. Чаши были прошиты идеальными ровными кругами машинной строчки и напоминали годовые кольца дерева или летние панамки младенцев, только поменьше...

Эти образцы швейного искусства предназначались бабушке, не признающей «ненастоящие» магазинные лифчики: «На них только деньги выкидывались из кошельков легкомысленных дамочек». В утренних сумерках Берд порой наблюдал бабушку со спины, когда она старательно одевалась: слегка наклоняясь, привычно облачалась в броню прошитой ткани, накидывала свободный халат, опоясывалась неизменным широким фартуком, составлявшим постоянный предмет утреннего гардероба, повязывала косынку на затылке; её неторопливые, сосредоточенные движения напоминали важный ритуал, будто она была выдавшим виды ратником, неспешно надевающим доспехи перед решающей битвой. Берд отводил глаза, будто заглянул в замочную скважину.

В углах бесшумно копошились ночные тени, ещё не изгнанные утренним светом; они начинали метаться в такт причудливо шевелящимся ветвям в свете зажжённого ночного фонаря под окном. Чтобы прогнать нарастающий страх, Берд снова глядывался в таинство нехитрой утренней бабушкиной процедуры, и приходило странное чувство умиротворения и защиты.

---

<sup>1</sup> Мой мальчик! Каким ты стал большим и сильным! (черкес.).

Неровные белёдые стены просторной Лялиной комнаты безо всяких признаков колера казались не холодными, а скорее свободными; слева от высокого окна висел портрет юной девушки, выведенный старательной рукой художника-любителя. Девушка напоминала тётю Лялю — это была её дочь Луиза, в восемнадцать лет утонувшая в озере. Других детей у тётки не было. Ни мама, ни Берд никогда не спрашивали об обстоятельствах гибели, а сама она о том не рассказывала. Ляля говорила о дочери буднично, с улыбкой, будто та только вчера уехала из дома.

Справа от окна висел портрет мужчины в военной форме. Берд сразу проникся к нему уважением, не понимая почему: был ли тому причиной строгий пронизывающий взгляд, способный сорвать покров с любой самой важной тайны, или тёмные тени впалых щёк под высокими скулами как знак сурового безмолвного знания, или резкий удивлённый изгиб густых бровей, придающий лицу какую-то незащищённость. «Это мой хозяин... — уже в который раз повторяла тётя Ляля, её глаза кофейного цвета лучились тихой гордостью. — Он был полковник, герой!» Иной раз она говорила, что он погиб как настоящий мужчина, защищая свою честь, в другой раз утверждала, что защищал родину. Картинка гибели Лялиного мужа в голове Берда не складывалась, но он не обращался с вопросами к маме, потому что она этого не любила, а спрашивать Лялю было бесполезно: тётка никогда ничего не объясняла, повинувшись лишь неудержимому потоку внутри себя...

Но как-то в приступе любопытства он попытался узнать у бабушки. «Да мало что она тебе скажет, только голову заморочит! Все они со странностями, эти люди с голубой кровью, что чудом уцелели...» Но сама задумалась, вспоминая вслух: «Аскер-то умный был, не чета своей жене, но больно гордый. Поссорился с начальником, прощения просить не стал. Отправили его в опасное место, там голову и сложил. Вон мать твоя всё твердит о ней: “Ляля счастливая!” Вроде как смеётся! Как же. Ляля-то всё потеряла, всю её родню вывезли в Сибирь и уморили, осталась ни с чем, да ума не хватает этого понять... Что сказать — блаженная!» — «Её муж был полковник?» — «Вроде бы...»

Берд улыбался, не зная чему: то ли Лялиному девичьему голосу, детскому ли тщеславию, которое тешилось воспоминанием о герое-защитнике.

Она приносила ворох белья — белого и пастельных цветов, — кидала на круглый стол: «Выбирай!»

Берд смотрел на её руки с длинными ровными пальцами без колец, мерцающими перламутровыми овалами ногтей. Она смеялась без видимого повода, будто смех до краёв заполнял её внутри, так что нужен был лишь ничтожный повод, чтобы он вырвался на свободу.

Впервые увидев тётю Лялю, он испугался собственной мысли о том, что она сумасшедшая: как можно смеяться, если умерли её дочь и муж и она осталась совсем одна...

Под тонкой тканью широкого цветного халата, похожего на кимоно, обозначались стройные ещё ноги, которые она ставила не вместе, как все знакомые женщины бабушкиного окружения, а так, как ей было удобно. Ляля свободно расставляла их, как боцман на палубе, опираясь на красиво вылепленные белые ступни, и щиколотки виднелись под низким подолом; её ноги — чаще всего босые — казались бесшабашными, подростковыми. Берд не мог и подумать, что ноги могут поведать так много. Они были весёлые. Дерзкие. Задорные. Насмешливые... Слов не хватило бы описать эту рвущуюся из Ляли стихийную силу, которую он ощущал, и ему казалось, что она состоит из массы разноцветных переплетённых нитей. Лялины ноги бездумно переступали, перепрыгивали, перелетали через невидимые преграды и запреты.

Иногда она надевала остроносые тапочки без задников, увенчанные бордовыми пушистыми бубонами, беззаботно скидывала их, забираясь с ногами в потёртое старое

кресло. Облачённая в тонкий халат в россыпи редких ярких растений, Ляля напоминала большую охапку весенних цветов. Она вела себя как девчонка, и ей это шло.

— А на какой войне погиб твой муж? — спросил однажды Берд, преодолев застенчивость.

— Какая разность? — ответила Ляля, путая, по обыкновению, русские слова. — Мужчины воюют, чтобы стало больше счастья. Так им кажется.

Она выгребала из каких-то неведомых углов кучу подарков, как добрая фея из сказки, которая просто материализует из воздуха свои желания и капризы.

— Тебе нравится? — спрашивала она маму.

Тётка дарила ей кружевное и спортивное бельё, тонкие и плотные колготки, гладкие и с ажурным рисунком, цветные, чёрные и белые майки с причудливыми вставками, платки, косынки и шарфы всех видов и размеров, разноцветные резинки для волос, бижутерию: броши, цепочки и кольца; словом, кучу чудесных предметов, которые упаковывались в красивые пакеты с нераспечатанным душистым туалетным мылом. Эти таинственные женские вещи служили для Берда символами чего-то непостижимого и запретного.

Ляля проявляла недюжинное упорство, заставляя мерить, выбирать и рассматривать подарки. Эта процедура ей самой доставляла удовольствия больше, чем маме: она брала племянницу за руку, отстраняя её от себя напротив окна, меняя угол освещения. Мама оказывалась в янтарном ромбе окна, её волосы вспыхивали гиацинтовым блеском, глаза цвета спелых каштанов лучились тихим светом. Тонкая, белокожая, с длинной гибкой шеей... «Царица, царица!» — восклицала Ляля с весёлым смехом. Мама отбивалась, но вскоре сдавалась, чтобы доставить удовольствие тётке.

— Если судьба — он найдётся, — однажды сказала Ляля, легко прикоснувшись к тёплой бледной щеке матери. — Если нет у женщины мужа — она счастлива ребёнком. Нет мужа и ребёнка — счастлива роднёй и друзьями. Лишилась родни и друзей — своим домом, нет дома — птицами да цветами, солнцем и луной. А лишилась всего, даже зрения и слуха, — счастлива собой, потому что носит в себе целый мир Создателя. Поэтому и сама дарит жизнь, которую Всевышний высекает из неё. Не может женщина не быть счастливой, не в её это власти!

— А бабушка говорит, что почти все женщины несчастны! — возразил Берд, оказавшийся при этом разговоре.

— Это те, что не знали любви... Женщина, выросшая в любви, становится виноградной лозой. В ней самой и её плодах течёт кровь земли. А перед тем, как созреть, виноградная лоза благоухает так, что её аромат перебивает даже запах чабреца. Этот запах — царь всех ароматов! Виноградная лоза дарит счастье! Каждому, кто её видит. Но без любви девочка превращается в колючку акации. А лишённый любви мальчик вместо того, чтобы стать величественным чинаром или могучим дубом, становится слепой дубиной, что мстит всем без разбору...

Очередь Лялиных подарков доходила до Берда: чаще всего она дарила ему носки, бейсболки и майки. А однажды — шорты, которые тоже подошли, как и всё, что предлагал её невидимый сундук-кладенец.

«Ты всю пенсию на это убиваешь», — каждый раз мама приходила в нешуточное отчаяние. Это продолжалось до тех пор, пока Берд не сказал ей однажды тихо, но твёрдо: «Она живёт для красоты, а ты ей мешаешь!» Мама как-то странно посмотрела на него и неожиданно порывисто обняла: «Боже, каким же взрослым ты стал!»

— Я ведь помню ещё мать Ляли, — сказала как-то мама, когда они возвращались домой по вечернему городу. — Я тогда ещё была маленькой, но Жанпаго — так её звали — спросила меня: «Знаешь, что для женщины самое главное? Какая её черта?» Я отвечала и отвечала: быть послушной... нет-нет, трудолюбивой... Кучу добродетелей назвала. Она всё кивала, улыбалась. Да-да, это тоже... Но самого главного она от меня не услышала. Тогда я сама спросила, до того мне стало любопытно.

«Она должна сделать так, чтобы каждый её близкий смог прикоснуться к раю. Это и есть главное умение женщины», — так сказала мать Ляли. «А как же красота?» — спрашиваю. «Красота, детка, во все времена, повсюду воскрешала и губила не только великие жизни, но города и страны. А для женщины это лишь временная награда: сегодня есть, завтра — нет... Настоящее богатство — это особенный дух, что остался в тебе, тот, что жил в наших матерях. Прежняя порода была ближе и к Богу, и к земле... Те, в ком больше нет прежнего духа, не прощают отсутствия этого дара... За тобой могут молча следить, сочинять о тебе небывицы, и грязные слова будут следовать за тобой, словно змеи, словно тени. Но если ты из *насэрей адыгэхэр*<sup>1</sup>, то никогда не ответишь тем же! Никогда! Даже если будешь свидетелем смертного греха своего обидчика! Молчи и оставайся собой! Оставайся такой, какая ты есть!» — «А как же ум? Разве не важно женщине быть умной?» — «Ум, красота — слова, только лишь слуги. У них должен быть хозяин. Кому они служат: добру или злу? Аллаху или шайтану? В чёрные времена, когда нужда в справедливости становится сильнее жизни, находятся такие, в ком служение добру переплавляется в алмаз, и тогда вместе с оружием ума, красоты или слова оно превращается в ослепительный свет, что выжигает всякое зло. Однако без ума ты не продвнешься ни в утверждении добра, ни в насаждении великого зла».

Чем была неотразима атмосфера Лялиного дома? Запахом домашней выпечки или её душистого мыла, которое она ревностно подбирала для мамы, служением памяти двух неизменных стражей — портретов, день и ночь охранявших её покой, высокого, игривого детского смеха — так смеются лишь горячо любимые дети, которых купают в тёплых волнах любви и неустанной, домашней, терпеливой заботы...

Понятие женского благополучия для неё было очень простым: не убиваться тяжёлым трудом. У неё было старое представление, унаследованное ещё от бабушек, что длинные нарукавники на *фашэ*<sup>2</sup> существовали неслучайно: женщины в старину обладали такими способностями, что одной силой мысли приводили трудоёмкие дела к конечному результату без всяких физических усилий. Берд на это лишь усмехнулся.

«Я была такой счастливой, когда замуж вышла за своего хозяина: все первые дни просидела на подушках». «А я бы умер со скуки», — подумал Берд и внезапно вспомнил сказание из Нартов, в котором одна героиня только пару раз за весь день проходила от одной стены к другой мелкими шажками, как белка.

Но при таком странном фольклорном представлении о женском благополучии в Ляле жил напряжённый, бездумный порыв, в котором дремала отчаянная отвага, и нужен был только случай, чтобы она соскользнула с невидимой тонкой грани и проявила его...

Оказалось, что Ляля-невеста стояла в углу так же, как все остальные.

И её, как остальных невест, подвергали «сладкому испытанию»: мазали губы мёдом, и их нельзя было коснуться языком. На недоуменный вопрос Ляля рассмеялась: «Узнаешь, когда жену в дом приведёшь!»

Берд хмыкнул: «А это зачем? Чтобы жизнь была как мёд?»

Ляля таинственно молчала, сохраняя интригу. «Чтобы мёд проник в мысли, в душу, в сердце, в слова... Женщина добрая, и жизнь её семьи такая же: как мёд для пчёл».

Берд знал, что Ляля заставляла его мать ходить с книгами на голове. Когда она ещё была девчонкой.

— Зачем? — спросил он Лялю. — Зачем ты её заставляла носить на голове книги? Это чтобы содержимое их вошло в голову?

<sup>1</sup> Прежние, традиционные адыги (черкесы).

<sup>2</sup> Женский традиционный костюм черкесов.

*Владимир Панкратов*

## На пределе сердца и рассудка

### *Поле*

Кузнечики мерят жнивье  
Меж нами прыжками длинными,  
Но поле-то — не моё  
И не его, а минное.

А он скрыт вдали ветлой,  
В ветвях, словно бог языческий,  
Качаемый лишь шкалой  
Безбожной моей оптической.

А ну... как другой замес,  
И в нём со всем прошлым вместе я  
Ломтями иду на вес,  
Порезанный перекрестием?

Сползла по курку оса,  
И дёрнулся указательный...  
Его и мои глаза  
Там встретятся обязательно,

Где лихо гремит парад,  
И посекторально, дозами  
Сыплет свой звёздный град  
С неба совсем не звёздного.

---

*Панкратов Владимир Иванович* — родился в 1957 году в Москве, в рабочей семье. Стихи и прозу пишет с тринадцати лет. В журналах и газетах не публиковался. Поэтических сборников нет. Занимался бизнесом. Живёт в Подмосковье. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.



## Булат

Мой брат прервался на намаз.  
Я, прикрывая, покрестился.  
Через прицел цеплялся глаз  
За дом, что всё ещё дымился.

Там, мерно в рухнувший проём,  
Стуча, распахивалась дверца,  
И души шли за окоём  
Моих врагов ... единоверцев.

А с неба бил за взмахом взмах  
Горящий молот, и как будто  
Кузнец, известный как Аллах,  
Или Иисус, а может, Будда,

Швырял беспечность нашу в горн,  
Крутя в клещах на наковальне,  
Чтоб до молекул с этих пор  
Мы все срослись в булат сакральный.

Молитву кончив, встал мой брат  
И обнял вдруг меня спонтанно.  
Он сына ждёт... хотел *Булат*,  
Но назовёт, сказал, *Иваном*.

## Взвод

Да какой я герой вам, ребята?  
Повезло, что тогда от Санька  
Отлетела с зажатой гранатой  
И наколотым морем рука.

Я кусал эти волны зубами,  
Ведь разжать по-другому никак...  
Руки-ноги, вы видели сами,  
Распластались в Андреевский флаг

Без движухи... Спасибо, хоть сердце,  
Как и мы, не оставило бой  
И дало в суку, ткнувшую берцем,  
Плюнуть отданной морем чекой.

Может, кружкой с чайком по глоточку  
Нашим взводом помянем денёк?  
Чтоб за нас там поставили точку.  
Ну, садись, что ли, рядом, Санёк.

## *Предчувствие*

Короткий бой — все живы — передышка.  
Прокашлялся и сжался на боку.  
Ну как я с этой долбанной одышкой  
До высоты, не рухнув, добегу?

И на пределе сердца и рассудка,  
Небытием обманывая стресс,  
Коротким обмороком, сном-полуминуткой  
Душа на время вышла из телес.

Увидев сверху трассерные галсы  
И высоты дымящийся оскал,  
Как корешок мой рядом приподнялся:  
«Давай покурим...» — Только и сказал.

Потом атака, взрыв и нега света!  
Не дотянул, как знал, совсем чуток,  
С руками сплёл ещё живые ветки  
Одним снарядом срезанный дубок.

Ну всё, душа, пора уже обратно,  
Нам стометровку скоро на износ!  
А кореш точно кадром многократным  
Опять мне тычет пачку папирос.

И дуб стоит, как вежа межевая,  
Но крик «Вперёд» — взрывается в мозгу.  
Что будет дальше, я примерно знаю,  
Но всё равно срываюсь и бегу.

## *Памятник*

На нём затягивали путы,  
Смеясь, цепляя их за кран,  
Чтоб с высоты на лилипутов  
Не мог смотреть уж великан,

И никогда, скребя по вые,  
Никто не думал, затаясь,  
Что были прежде и иные,  
А не такие, как сейчас.

И вновь по схеме чьей-то давней  
Толпой, читаемой с листа,  
Из тьмы веков летели камни,  
Не долетевшие в Христа.

## *Просьба*

*(Из интервью 2019 года)*

Мама, а правду сказали,  
Что это не пушки, а гром?  
Поэтому мы и в подвале,  
Чтоб выйти сухими потом.

А было такое когда-то,  
Совсем-пресовсем без войны?  
Зачем фотокарточку брата  
Снимаешь в подвал со стены?

Ему уже, правда, не страшно?  
Что значит название *рай*?  
Нагнись, пошепчу, это важно,  
Поэтому, ма, обещай:

Когда меня дяди из пушки  
Убьют, положи мне в кровать  
Какую захочешь игрушку,  
Чтоб мог я на небе играть.

## *Солдат*

Он вернулся. Совсем. К мамочке.  
Повзрослел под чужим небушком.  
Улыбаясь глядит с рамочки  
На звезду и стакан с хлебушком.

## *Русское кладбище*

*Памяти Русских эмигрантов первой волны...*

Русскому грустному уху  
Язык переводит в слова  
Чужую мелодию звуков —  
Сент-Женевьев-де-Буа.

Могилы, кресты, обелиски,  
Итоги того, чем живём...  
Стекают о вечности мысли  
С зонта морозящим дождём.

В последних сраженьях без стога,  
С деревьев, встречая Покров,  
Летят золотые погоны  
Под шашкой осенних ветров.

И снова тоской непонятной  
С октябрьской холодной горсти  
Стреляют кленовые пятна  
По мрамора белой кости.

И молят о чём-то Мессию,  
И смотрят могил острова  
В далёкое море России  
С Сент-Женевьев-де-Буа.

Урмат Саламатов

## Дуккха

Повесть

*Детям посвящается*

Жизнь поставила нас на четвереньки  
и, вкусив крови,  
мы более не захотели быть людьми...

### Часть 1

#### Глава I. Кровью вскормленные

— Пощади!  
— Не могу. Кисас<sup>1</sup>.  
— Знаю. Я не за себя... Он ни при чём, — мужчина кивнул в сторону мальчика лет десяти, испуганно озиравшегося вокруг. — Это касается только нас.  
— Нет, не только. И ты это знаешь!  
— Он совсем мальчишка.  
— И я им был когда-то, пока ты не убил отца. Сегодня твой сын станет мужчиной. Придётся.  
— У него, кроме меня, никого нет.  
— И у меня не было. Ты!.. Ты отнял всё. Ты утопил детство в чане с кислотой. Украл радужные цвета из моей жизни, покрасил чёрным небо над головой. Ты посадил зерно мести внутри, которое двадцать лет, разрастаясь, кровоточило.

---

*Саламатов Урмат Саламатович* родился в 1990 году в Бишкеке (Кыргызская Республика). Окончил Академию Управления при Президенте Кыргызской Республики по специальности банковское дело. Печатался в альманахах, журналах «Нева», «Москва», «Звезда Востока» и др. Автор книги «Плата за рай» (Бишкек, 2019). Живёт в Бишкеке.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

<sup>1</sup> Кисас (*араб.* — возмездие, воздаяние равным) — в исламском праве категория преступлений, за которые шариат устанавливает точную санкцию — кисас. По общепринятому определению, кисас — это наказание, равное по тяжести совершённом противоправному деянию. В исторической практике кисас встречается в двух формах. Одна из них — наказание виновного «с таким же деянием» за преступления, «совершённые против физической неприкосновенности человека, например, жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб». Другое приложение связано с социальным статусом преступника и жертвы. В племенном понимании, когда человек убивает женщину, раба или почётного человека из другого племени, в ответ будет убит человек «аналогичного статуса из племени, к которому принадлежит убийца».

— Я знаю, о чём ты говоришь. Твой отец убил моего. И моё нутро полыхало. Мне тоже пришлось страдать. Как и тебе, мне знакомы боль и злоба...

— Тогда ты знаешь, что ждёт твоего сына. Пощадить, чтобы он жил?.. А у него получится? Жить-то? Ты знаешь, что с ним будет после того, как я тебя убью. Тьма поглотит его разум, а сердце уже не сможет любить. Он продаст душу любому, кто поможет отомстить за тебя. Скажи, ты хочешь, чтобы сын жил в муках? Как мы?

— Нет. Не хочу. И...

— Я избавлю его от бесконечных страданий, ядовитых мыслей, разрушающих чувств. Отправлю туда, где нет отравы, взрастившей нас. Туда, где не властны законы людей. Где земля — всего лишь песчинка в пустыне. Там ему будет лучше.

— Прошу... — он осёкся и опустил голову, пытаясь сохранить самообладание.

— Сын отомстит, чтобы отец покоился с миром. Должен. Того требует честь. Велят воспитание, традиции. А иначе — позор! Даже если не захочет, не сможет сегодня, он никогда не забудет. Не простит. Не оставит попыток найти путь, который приведёт ко мне. И завтра он явится, чтобы убить!.. Ты воздал за отца. Я мщу за своего. А он придёт мстить за тебя... Кровь за кровь. Так было, есть и будет. Но не со мной. Смерть всех сыновей из вашего рода остановит кровопролитие. Я положу этому конец.

— Убив твоего... — он запнулся, сиюсья прогнать поселившуюся в сердце скорбь от предстоящей утраты. Поборов чувства, продолжил: — Уже тогда я знал, что ты придёшь. Я понимаю и принимаю твоё возмездие. Но моё — не было омрачено твоей гибелью. И, если месть для тебя такая священная, прошу, не тронь пацана.

Канду замолчал в раздумьях. Его старенький потёртый ТТ, умеющий отправлять людей в упомянутые им места, был направлен на собеседника. Обременённый мыслями, он тяжело вздохнул. Всмотрелся в дрожащего мальчишку, который еле сдерживал слёзы, пытаясь сохранить хладнокровие и малодушием не опозорить отца. Поразмыслив, посмотрел на просившего и кивнул в знак согласия. Тот благодарно наклонил голову в ответ, схватил мальчика за руку и сказал: «Сын, никогда не забывай, кто ты. Ты — сын Будана из могучего рода Будур! Будь храбр, живи честно, ничего не бойся!» Он встал лицом к дулу пистолета, приподнял подбородок и выпятил грудь. Глубоко вдохнул и хотел что-то произнести, когда сын не удержался и всхлипнул: «Папа!» «Не смей! Не показывай им своих слёз. Слышишь?!» — сурово бросил Будан. Тот мотнул головой и, стараясь унять чувства, отёр глаза рукавом. Отец едва заметно улыбнулся и, приобняв, одобрительно потрел сына по спине. Затем, шагнув в сторону, выговорил по-арабски: «Нет божества, достойного, кроме Аллаха, Мухаммад — Посланник Аллаха».

Я не хотел, чтобы его сын видел, как убивают отца. Поэтому встал позади мальчишка, готовый увести подальше. Но разговор прервался внезапно. Канду кивнул в знак уважения и, поджав губы, выстрелил в сердце Будана, едва из уст его прозвучала Шахада.

«Папа!» — вскричал мальчик и бросился к телу, безжизненно рухнувшему на пол. Опустился на колени, ладонями схватился за щёки, повернул голову и, глядя в застывшие глаза, взывал: «Пап! Пап!.. Папа!» — пытаясь воскресить отца. После тщетных попыток уткнулся лбом в окровавленную грудь и не совладал с чувствами. Рыдая, содрогался всем телом и, прерывисто дыша, похрипывал. С трудом успокоился и, не выпуская отца из объятий, долго не поднимал головы. А когда всё же оторвался от груди усопшего, я утратился. Мальчишка, что стоял ранее, цепенея от страха, исчез. Лицо пылало злостью. Нос морщился, губы подёргивались, оголяя зубы. А детские глаза источали ярость. Он глядел исподлобья и не моргал, будто боялся потерять из виду убийцу. Казалось, у него помутился рассудок. Непривычно видеть ребёнка, готового убивать. Я разрядил пистолет, а он всё не сводил глаз с Канду, словно хотел взглядом заживо снять с него скальп.

Кандуу подвинул стул, сел рядом с телом поверженного врага и прочитал молитву за упокой души. Закончив, встал и молча глядел на сына убитого. Тот сидел неподвижно. На окровавленном лице от слёз пролегли две тоненькие линии, напоминая боевой окрас индейцев команчи. Ничто не выдавало его внутреннего напряжения. Лишь взгляд сквозь размытую кровь говорил о клятве, которую мальчишка уже принёс. Он смотрел на убийцу отца. Смотрел, чтобы запомнить.

Кандуу долго глядел, пытаясь найти подходящие слова и ими утешить мальчика, убитого горем, прежде чем потупился. Ничего не сказав, он решительно повернулся и пошёл к воротам. Сделав три-четыре шага, он остановился, склонил голову. Затем поднял руки, взгляделся в них, и плечи его задрожали. Он согнулся, будто от боли в груди, и прикрыл правой ладонью глаза. В левой — держал заряженный пистолет. Обернулся и посмотрел на мальчика, который всё так же не сводил с него глаз. Несколько раз тяжело вздохнув, он подошёл вплотную и приставил пистолет к его голове. Тот не шелохнулся и, будто не видя оружия, с ненавистью смотрел исподлобья.

Лицо Кандуу исказилось от злости. Он сказал:

— Скажи, и я избавлю тебя...

— Стой! Ты не можешь, — вскричал я.

— Он — Будан! — крикнул Кандуу в ответ.

— Ты дал слово!

— Смотри! — он наклонился и, указывая на лицо мальчика, потряс пальцем. —

Посмотри на него. Он уже отравлен.

Я взглянул на мальчишку. Тот сидел и смотрел так, будто всё в мире исчезло. Всё, кроме убийцы отца.

— Всё равно ты не можешь убить его. Нас привёл закон чести, из которого родилось право на месть. Он не проливал кровь. И ты не тронешь его. Или, клянусь, у тебя нет чести!

Глаза Кандуу не вмещали нахлынувшей ярости. Оскорбление распирало грудь. Всё его напряжённое тело подалось вперёд, готовое ринуться в бой, чтобы в смертельной схватке воздать за обиду. Он смотрел на меня и учащённо дышал. Спустя минуту, махнул рукой, отвернулся, схватился за голову, повалился на стул, стоявший рядом. Он понимал, что я прав. Зная, что не может лишить мальчика жизни, тёр лоб пистолетом, мотал головой и что-то бормотал, пока не замер и через мгновение не воскликнул:

— Ты!.. Ты убей!

— А?! — оторопел я.

— Я требую по праву крови, в которой мои руки из-за тебя.

— Я здесь! Мой долг оплачен.

— Врёшь!..

— Никто не станет больше никого убивать. С тобой я воздал за отца. С моей помощью ты отомстил за своего. Я рассчитался. В полной мере.

— Нет, не в полной. У Лиссана были телохранители. Я убил пятерых.

— Да, но Лиссана убил я.

— На моих руках кровь невинных людей, непричастных к твоей мести. Я знал, чем это может обернуться. Меня могли обвинить в братоубийстве и казнить с позором. Могли предать огню. Облить бензином и сжечь, понимаешь?! И уж точно — я не хотел видеть сны с лицами убитых. Ты знаешь! Никто не хочет. Но я сделал это ради тебя, чтобы твой кисас состоялся. А когда помог отомстить, ты поклялся, что в долгу до тех пор, пока я не буду удовлетворён кровью, что ты прольёшь ради меня. Бог свидетель! Сколько крови ты пролил? Я спрашиваю, сколько? Нисколько! И в уплату я требую: убей его!

— Нет!!! Не буду!.. Не могу! Прощу, не проси. Только не об этом... Не поступай так со мной.

Я отвернулся.

Он молчал.

Сокрушаясь, я вспомнил день, когда мстил за отца. Тогда Кандуу не пришлось упрашивать. Он помог и поддержал меня. А после искренне скорбел, сожалел о моей утрате. До самого момента совершения мести я был сосредоточен. Мне было некогда проявлять эмоции. Мы перебили всех, кто стоял на пути. Я высказал все слова, что травмили меня изнутри. Убийца отца испустил последний вздох, и тогда я упал на колени и дал волю чувствам. До сих пор помню тяжесть руки Кандуу, которую он не убирал с моего плеча, пока я не совладал с душевной болью. Поистине, он помог достойно отомстить. Тогда-то в порыве нахлынувшей благодарности я и дал клятву.

— Я знал твоего отца. Он отмщён и давно покоится с миром. Ему повезло не видеть, как ты позоришь свой род. Не держишь слова. Знай, нарушив законы чести, ты осквернишь память, и его дух снова обретёт смятение. Убей! Сделай это ради отца. Ради себя. Или, клянусь, у тебя нет чести!

Услышав последнее, я резко развернулся и направил на него пистолет. Он вздрогнул. Но преодолел страх и громко произнёс:

— Довольно! Ты не можешь отказать! И ты это знаешь. Убей его! И я, Бог свидетель, буду считать твой долг оплаченным, а клятву исполненной.

Меня злила уверенность Кандуу. Он не допускал возможности иного, будто заглянул в будущее и знал наверняка, что я непременно поступлю, как он хочет. Держал себя так, словно властен заставить исполнить любую прихоть, даже то, на что я не способен. Он не оставил выбора, и я готов был убить его, думая, что легче выстрелить в него, чем в мальчишку. Но убить Кандуу — означало предать отца. Воспитывая меня, он твердил: «Честь важна! Мужчины без неё нет и быть не может. Если не в силах за клятву ответить, за оскорбление воздать обидчику, правду отстоять, достоинство защитить — лучше умри!» Взращённый этим убеждением, согбенный под ношей священных обычаев, возведённых до фанатизма, я не смог убить его, как и разглядеть истину и постоять за правду.

Думая об отце, я кивнул в знак согласия.

— Ну вот и отлично. Мужчина! — он подошёл ко мне и хлопнул по плечу. — Я и не сомневался... Ну, давай! — Он подтолкнул меня в сторону смиренно ожидающего смерти и добавил: — Будь уверен, отец бы тобой гордился.

Я посмотрел на мальчика. Как под гипнозом, он всё ещё не отводил взгляда от Кандуу. Будто не понимал, что происходит. Не слышал крадущейся смерти, что с каждым словом приближалась к нему. Отказаться я не мог, но потакать кровожадности Кандуу, который жаждал увидеть, как последний представитель вражеского рода истечёт кровью, оказалось выше моих сил. Подумал, если смогу умертвить, то только без посторонних. Подальше от этого самодовольного типа, предвкушающего предстоящее убийство. Решил избавиться от бремени клятвы на заднем дворе. И когда взял за шиворот и потащил, мальчик зарычал, стал биться и царапаться. После неудачных попыток вырваться он протянул руки в сторону, где лежало тело отца и жалобно простонал:

— Дайте схоронить!

Я остановился. Присел и, держа его за предплечье, сказал:

— Не волнуйся, его предадут земле. Даю слово!

— Это должен сделать я, — возразил он.

— Родственники об этом позаботятся. Обязаны. Это их долг.

— У него, кроме меня, никого... никого нет.

Голос его задрожал. Он старался сдерживать чувства, но одна слезинка набухла размером с ягоду облепихи и предательски скатилась. Я смотрел и не видел мальчика. Воистину, это был мужчина. Я подумал: «Что же мы творим? Что за жизнь такая? И за что она делает нас сильными так рано?»

— Скорее! — крикнул Кандуу.

Глядя на мальчика, я промедлил с ответом.

— Не здесь. Не сейчас.

— Почему?

— Он мне нужен. Поможет схоронить Будана. За одно и себе могилу выроет. Когда всё сделает, убую его и закопаю рядом с отцом.

Я соврал, чтобы усыпить бдительность. Сам же планировал убить мальчика в дороге, до того, как доедем до кладбища. Мальчик прослезился. На моей памяти это был первый случай, когда слёзы радости пролились в ответ на угрозу смерти.

— Схоронить?! Что ещё сделаем? Поминки на себя возьмём? Надгробную плиту за свой счёт установим?

— Я дал слово.

— Кому?!

Я показал на мальчика.

— Его отец моего не хоронил. И я не стану. Я ему ничего не должен. А вот ты мне обещал. Так убей, исполни клятву и сохрани честь!

— Я убую! — злобно вскрикнул я. — Так, как считаю нужным!

Кандуу, покачивая головой, отмахнулся:

— Ладно, делай как хочешь, а я не стану хоронить убийцу отца. Лучше бы скормил волкам или оставил тут гнить... Я не поеду, но помни — Бог свидетель! Сделай, как надо... Жалко, не увижу, как прервётся «могучий» род Будур. Ха-ха-ха!.. Ну, до встречи.

Он ушёл. Но не прошло и минуты, как вернулся и, встав в дверях, прокричал:

— Уши! Хочу его уши! Принеси их, и я сочту клятву исполненной. Без них не поверю, что он мёртв.

## Глава II. Возродись

Мальчик ехал молча. На вопросы не отвечал и не удостоивал взглядом. Губы безмолвно извергали проклятья. Он неистово сжимал ручку двери, и на нежном, ещё детском лице, не знавшем невзгод, от напряжения выступили желваки. Рыжие ресницы, усеянные маленькими каплями слёз, и серые глаза, обращённые к Богу с мольбой... С мольбой о том, чтобы он приютил их семью.

Я ехал и думал, как бы половчее его убить. Так, чтобы не увидеть лица, искажённого муками... чтобы ночами не снился. А ведь он всё слышал и знает — что едет на смерть. Почему не ревёт? Не молит о пощаде? Не уговаривает отпустить? Не клянётся забыть? Ковыряясь в памяти, вспоминая последние минуты людей, убитых мною, я не находил ответов.

Я остановил машину. Открыл капот. Велел ему принести камень и подпереть колесо. Он повиновался не сразу. Стоял и смотрел на меня, будто зная, что я задумал. Две крупные слезинки, словно чужие, скатились по его безучастному лицу. Я скомандовал ещё раз. Он, не проронив ни слова, повернулся и пошёл вдоль дороги. Шёл твердой поступью, с гордо поднятой головой. Я выждал момент и, когда он достиг расстояния, чтобы я не мучился, достал пистолет и прицелился. А он всё не останавливался. «Кто же так ищет? Ни вниз, ни по сторонам не смотрит», — не успел



подумать, как он повернулся и, глядя на меня, застыл в ожидании. На детском лице я увидел твёрдость духа, какой не встречал и у мужчин перед смертью. Он смотрел с дерзостью, приподняв подбородок, выпятив грудь, сжав кулаки и всем видом призывая: «Стреляй! Покончим с этим». Губы его шевелились, и я будто слышал: «Клянусь! Я отомщу».

Видит Бог, я прилагал усилия, чтобы выстрелить, но палец онемел и отказывался слушаться. Я опустил пистолет. Сделал два глубоких вдоха. И прицелился снова, готовый нажать на курок. Но рука задрожала, словно кто-то невидимый стал мешать. «Отец?» — пронеслось в голове. «Его или мой?»

Я вспомнил день, когда впервые сел верхом. Отец гордо тряс кулаком в воздухе, соседи звали молодцом, хлопали в ладоши. А ослик отдалял меня от них, унося по дороге. Повернул неожиданно и уронил наземь. Упав на спину, я заплакал не от боли, а скорее от досады. Поднявшись, перепуганный, побежал в слезах к отцу, а он — навстречу. Обняв, смеялся и успокаивал. Взял на руки и сказал: «Через это надо пройти. Чтобы вырасти сильным, ты должен научиться падать, а затем вставать». Когда он научил меня падать, его убили.

Мальчик не двигался в ожидании конца.

Я удалился за машину и присел на каменистую землю, прижавшись спиной к двери. Он не мог меня видеть. Учащённо дыша, слышал как наяву: «Без чести мужчины быть не может!»; «Не в силах за клятву ответить — лучше умри!»; «Осквернишь память отца...»; «Опозоришь род»; «Убей!»; «Исполни...»; «Сделай как надо»; «Убей его!»; «Нет чести»; «Позор!»; «Позор!!»; «Позор!!!» Каждое слово, как оса, запертая в черепе, жалило мозг.

Я положил перед собой пистолет. Обхватил голову и сжал, пока руки не свело судорогами. Но мысли не оставляли в покое. Всматриваясь в небо, сказал: «Зачем?! Зачем ты позволил мне дать эту клятву? Я не могу убить ребёнка! Зачем ты выковал меня в чести? Теперь я должен... Я должен!..» Изведаясь в безуспешных поисках ответа, я не знал, как поступить, и не нашёл ничего лучшего, чем со всей силы вдарить ладонью в землю — до боли в предплечье. Ударил так, будто она во всём виновата. В местах, на которые пришли торчавшие камни, проступила кровь. Растёр ладонь, чтобы унять боль, а потом прикрыл ею лицо, прячась от света и обращаясь ко тьме. Надеялся, что она знает, подскажет. «Ты не должен. Никому. Ничего».

Я открыл глаза и увидел пистолет. Схватил и так быстро приставил ствол к виску, что ни одна мысль не успела проскользнуть. Когда почувствовал холодное дуло, я подумал об отце: «Если смотришь сейчас, прошу, отвернись».

Пошёл дождь. Он разбавил собою и спрятал слёзы отчаяния. Мне не было страшно, но подбородок и губы невольно дрожали. Я закрыл глаза и придавил курок. Слышал, как натянулась и заскрипела пружина внутри, когда в голове прозвучали слова Будана: «У него никого нет». Открыв глаза, я увидел мальчишку. Он стоял рядом и на протянутой ладони держал овальный, почти правильной формы камешек размером с урюк.

### Глава III. Будум

Дождь усилился и причинял неудобства, осложняя погребение. Каменистая почва будто знала, при каких обстоятельствах погиб человек, и, считая нас преступными, отказывалась принимать покойника.

Спустя два часа мы всё же предали умершего земле.

Чтобы отсрочить предстоящий неизбежный разговор, натаскали камней больше, чем было нужно, сложив их для обозначения могилы.

Я присел передохнуть. Он опустился рядом, касаясь локтем моей руки.

— Спасибо! — еле слышно сказал он.

Я посмотрел на мальчика и, чувствуя вину, склонил голову, а про себя подумал: «Ты не должен... не можешь благодарить врага».

Мы молчали. Дождь перестал.

Я пытался собраться с мыслями, вспомнить уместные фразы, что помогут если не прогнать, то ослабить боль и скорбь от потери близкого человека. Я должен был высказать то, что определит его дальнейшую судьбу. Склеит сломанное нутро, чтобы мальчик смог жить дальше. Тербил в руках камешек с горошину, будто он мог помочь. Когда ничего не получилось, запустил его с такой силой и злостью, словно это он отнял слова.

Дул холодный ветер. Я продрог и хотел скорее покончить с сентиментальностью.

— Послушай, — начал я. — Я не умею красиво говорить. За всё сказанное нужно платить. Мне нечем. Да и слова вряд ли помогут... Твоё несчастье, что я не могу убить тебя... Ты свободен. Иди и не бойся...

— Я не боюсь! — перебил он.

— Да... Не боишься... Если есть куда, ты можешь идти. Я не стану удерживать.

Он посмотрел по сторонам, опустил голову и принялся ковырять пальцем землю, прежде чем ответил:

— Некуда.

После недолгого молчания я продолжил:

— Знай, пока ты дышишь, Кандуу не успокоится. Станет искать из страха за свою жизнь. А когда найдёт...

— Что будет с тобой?

— То же самое.

— Помоги мне. Помоги убить его. Отомстить за отца. И я клянусь...

— Стой! Не клянись, не надо. Не обрекай себя на то, чего сделать не сможешь.

— Я смогу!

— Забудь! Не губи себя. Оставь Богу. Иногда Он вершит справедливость... Послушай, в жизни есть много вещей, ради которых стоит отказаться от мести. Даже священной. И ты с лихвой насладишься ими, если отпустишь прошлое.

— Я не могу. И...

— Тогда иди! — вскочив, крикнул я. — Иди! Иди и умри! А я не хочу на это смотреть. Я отказываюсь! Отказываюсь, слышишь?! Больше не хочу видеть кровь. Больше не хочу думать об этом. Не могу больше. Не могу.

Со всей силы швырнул пистолет высь и ринулся к машине. Но, сделав несколько шагов, остановился. Простоял, а затем, не оборачиваясь, сказал:

— Я могу спрятать тебя.

Услышав шаги, повернулся. В двух метрах, с моим пистолетом в руках, он целился мне в живот. Я медленно подошёл, уткнулся в ствол. Опустился перед ним на колени. Схватил и осторожно приподнял его руку, наводя пистолет себе в лоб. Затем сказал:

— Не хочу мучиться.

Он задержал дыхание, сжал губы и, вытянув руку, закрыл глаза. А когда выдохнул, рука его повисла, будто сломанная, и, не в силах удержать, он выронил пистолет. Заплавав, сказал: «Прости». А я подумал: «Ты не должен... не можешь просить прощения у врага».

— Спрячь меня, прошу, — выдавил он, отирая глаза.

— Это правильное решение, — произнёс я, положив руку ему на плечо.

Он совладал с чувствами не сразу. Когда успокоился, я сказал:

— Теперь сделаем так, чтобы тебя забыли. Навсегда.

Он вопросительно посмотрел на меня.

— Тащи камни. Похороним тебя.

Мы соорудили рядом с могилой отца ещё одну — маленькую. Прочитали молитвы, и я оставил мальчика одного. Прощаясь, он долго стоял, склонив голову. А потом задрожал и, припав телом, обхватил камни руками, словно пытался обнять отца напоследок. Поцеловав большой камень в изголовье могилы, поднялся и не оборачиваясь, покинул кладбище.

Уже в пути я спросил:

— Как тебя зовут?

— Будум... Будум, сын Будана из могучего рода Будур!

— Я Йэрю, сын Йюру из великого рода Йэру.

#### Глава IV. Плоть

Я точно знал, куда мы поедем после: на север. Но прежде нужно было убедить Кандуу, что мальчик мёртв и ему не о чем волноваться. Усыпить бдительность, чтобы не оглядываться самим.

Взять Будума с собой я не мог, как и приютить. Дома было опасно — соседи. Даже зная, что ему грозит смерть, если кто прослышит, — всё равно разболтают. Думая, куда бы спрятать Будума, вспомнил о саманном домике деда у подножия горы Мондур.

Дед работал чабаном. Большую часть времени года проводил в горах и спускался в село, только чтобы перезимовать. Тяготы своей профессии переносил с трудом. Часто болел из-за сильных ветров на пастбищах. И, желая сберечь здоровье, решил построить дом. Два года возводил. Один. А когда управился, его уволили. Новый работник, молодой чабан, счёл пастбища негодными и нашёл другие места, на которых и по сей день пасётся скот. Дед же до последнего так и не смог привыкнуть к жизни в селе и каждый год с нетерпением ждал окончания зимы, чтобы вернуться в дом у подножия горы.

Верхом путь из села занимал сутки. Раз в месяц мы с отцом навещали деда. А в один из дней нашли мёртвым. Тело, порванное дробью, и записка: «Таджибай». Мы похоронили его в пятнадцати метрах от дома. Я остался охранять пожитки, а отец, одержимый мстью, отправился искать убийцу. Через два дня вернулся. Мы заперли дверь, забили окна гвоздями и больше не приезжали в те места.

Близился полдень, когда я прочитал молитву над могилой деда и вошёл в дом. Посередине комнаты стоял Будум и смотрел на высохшее, побледневшее пятно крови на серой простыне.

— Это было давно.

Он обернулся. И спросил:

— Отца?

— Деда.

Нахмутив брови, едва покачал головой. Снова уставился на постель и задумался.

— Не волнуйся, мы здесь не останемся.

— Уедем?

— Когда вернусь.

— Куда?

— Далеко отсюда... Увидишь, там лучше.

Будум недоверчиво взглянул на меня и, отвернувшись, уставился в окно.

— Мне надо ехать. Никуда не выходи. Сиди тихо.

Он кивнул.

Я вышел из дома. Сел в машину и отправился к Кандуу. По дороге мысленно проговаривал предстоящий диалог и обдумывал слова, стараясь выбрать наиболее подходящие, чтобы убедить его. Проехав четверть пути, вспомнил про ухо, которое Кандуу потребовал в качестве доказательства смерти мальчика. Остановившись у обочины, уткнулся лбом в руль и думал, что делать с его прихотью. Зная Кандуу, я понимал: без уха он не поверит в смерть Будума. Не придумав ничего толкового, развернулся и поехал обратно. Приблизился к дому, и кровь подступила, заставляя сердце учащённо биться, я понял, что у меня нет слов, сумеющих убедить десятилетнего мальчика отдать своё ухо.

Переминаясь, я долго топтал траву, вглядывался в голубое небо, синее море, тёр лоб, глаза, хватался за голову в надежде, что нужное решение придёт. Но свет не пролился. Сокрушаясь, задался вопросом: «Даже если согласится, смогу ли я отрезать?» В голове стали, ежеминутно меняясь, возникать картины предстоящего, мерещиться жестокие сцены насилия над мальчиком. Мысли путались, пока всё не перемешалось и не усложнилось окончательно.

Не пришлось бы мучиться беспорядочными думами, бесполезно тратить время и силы на поиск ответов, если бы я знал о его мужестве, которое, подобно айсбергу, большей частью было сокрыто от глаз. Но я не знал. И ждал, что он обернётся тасманским дьяволом, будет драться до последнего издыхания за своё ухо. Предполагал услышать едкие речи, преисполненные проклятиями в адрес всех, кто причастен. Готовился к жгучим монологам, в которых станет декламировать: «Ни один из сыновей могучего рода Будур никогда не позволял никому ничего отрезать. И я не дам!» А излив слова, заплачет, упадёт на колени, взмолится и попросит не разделять его, не забирать ухо. Начнёт уговаривать и уповать на важность, необходимость органа. А когда увидит нож, станет вопить, убежать и отчаянно сопротивляться.

С трудом убедив себя в неизбежности, я заключил: «Иного выхода нет!» Я боялся, поэтому на случай наступления крайности придумал, как себя повести.

В детстве мы с ребятами, борясь, обхватывали руками шею и душили друг друга до кратковременной потери сознания. Я хорошо помнил технику приёма и решил усыпить, если придётся действовать против его воли. Уже обездвиженного беспрепятственно лишить уха, а после снова привести в чувство. Но, вспомнив об обстоятельствах, прекративших наши игры, отказался от этой идеи. Произошёл несчастный случай. Один из нас заснул навсегда. Ему было восемь.

Трагические воспоминания породили тревогу, и я почти сошёл с ума в попытках превозмочь себя. Оттого обратился к Богу, взмолился, чтобы он не позволил худшему случиться, и, скрепя сердце, вошёл в дом.

Будум, поджав ноги к груди, лежал с открытыми глазами в комнате деда и застывшим взглядом смотрел, казалось, сквозь стены. Деревянный пол предательски заскрипел. Увидев меня, он поднялся.

— Мне нужно... — не смог сказать, глядя на него, поэтому прошёл к окну, — твоё ухо.

— Ухо?

— Да. Иначе он не поверит, что ты мёртв.

— Ах да! Помню. Он говорил... Ну, надо так надо, — спокойно бросил он, будто отдаёт волосок с груди. Беспечно подошёл ко мне, посмотрел в глаза, молча повернул голову и вытянул левое ухо.

Из представлений о возможном поведении мальчика этот исход был непредвиденным. Я растерялся. Стоял в ступоре, не зная, как подступиться.

Не помню, как достал нож, но помню, что пальцами левой руки взялся за ухо, оттянул и резким движением отсёк плоть. Он вскрикнул и подпрыгнул от боли. Схватившись за рану, заметался по комнате, присел на корточки в углу. Кровь стекала по рукам и капала на пол. Я побежал в машину за аптечкой, которую никогда прежде не открывал, виня себя за то, что не подумал и не приготовился заранее. Возблагодарил Бога за измятую приплюснутую упаковку бинта. Я знал, что упаковка из двухслойной плёнки обеспечивает стерильность, даже если бинт утопить в грязи. Стряхнул пыль, осторожно раскрыл и вернулся в дом.

Он сидел, опершись спиной о стену, руки повисли и при малейшем движении оставляли на полу иероглифы крови. Глаза его в слезах бегали в поисках обезболивающего. Рот открылся, помогая лёгким вобрать больше воздуха. Левая часть белой рубашки от плеча до груди окрасилась кровью. Опустившись на колени, я стал перебинтовывать. Получалось плохо. Пришлось обмотать голову, закрыв повязкой левый глаз, иначе бинт соскальзывал, оголяя рану и причиняя новую боль. Губы его тряслись. Он хотел что-то сказать, но дотерпел, пока я закончу.

Перевязав рану, положил мальчика на кровать. Будум, стараясь не шевелить головой, попросил воды. Я принёс полный стакан и наказал лечь на правый бок. Он смочил рот, с усилием повернулся и задрожал всем телом. «Расслабься!.. Расслабься и... и постарайся заснуть», — неуместно подсказал я.

Будум лежал с закрытыми глазами, но не спал, когда я оставил его. Подъезжая к дому Кандуу, спросил себя: «Если в роду Будура все такие, как этот мальчик, то почему я никогда прежде не слышал о них?»

В правом кармане пиджака лежала скомканная газета «Жаркын келечек»<sup>1</sup>, в которую было завернуто ухо.

## Глава V. Лис

Я бросил к ногам Кандуу «Светлое будущее», пропитанное кровью.

— Что это? — спросил он.

— Мы в расчёте!..

— Ты погоди бросаться с порога. Ей Богу, как чужой! Враг ты мне, что ли?! Садись, хлебом угостись, чаю отпей.

— Не могу. Спешу!

— Куда?

— Уезжаю.

— Понимаю... Из-за Риссана?

— Кого?

— Риссан, сын Лиссана.

— Как сын?! — оторопел я.

— Да вот так. Неужели не знал?

— У него не было детей.

— Был. Уже тогда был. Он с мамой гостил у бабушки. На севере. После известия о гибели мужа жена осталась в родном селе. Мальчик вырос там. Сейчас ему пятнадцать. Или четырнадцать. Не помню точно...

Я ощутил неприятное, неведомое прежде чувство. Никогда не покидавшая нутро

<sup>1</sup> «Светлое будущее» (кырг.).

злость на судьбу за тяготы, которыми та щедро сдобрила моё существование, вдруг испарилась. Я будто стал подельником. Соучастником в её самых жестоких насмешках. Заодно с ней сотворил и привнёс горе в жизнь людей. Издеваясь, она заставила причинить им те же страдания, которыми некогда высекла мою душу.

— Может, теперь ты поймёшь меня, — он развернул газету, схватил ухо двумя пальцами, приподнял к лампочке в потолке. Покрутил на свету и добавил: — Авторое?

— Второе сам иди и отрежь!

— Ладно, не злись... Это было необходимо, чтобы положить конец вражде.

— Врёшь! Ты коварно воспользовался клятвой и заставил меня убить ребёнка из страха за свою жизнь. В этом нет чести!

— Времена чести прошли! — он стукнул кулаком по столу. — Оглянись вокруг!

— Но мы-то остались.

— Остались. Да вот только остались ни с чем! А те, у кого её нет, давно купаются в золоте. Не знают, куда его девать...

— Честь дороже любых богатств. Она от отца. А те — предатели. Мне пора. Скажи...

— Погоди, останься на чай.

— Не могу.

— Неужто и вправду уезжаешь?

Я кивнул.

— Далёко?

— Далёко.

— Надолго?

— Навсегда.

— Ты не сказал куда?

— Туда! Туда, где нет людей. Всего этого. Этих дурацких бесконечных мыслей. Крови, мести, страданий... Туда, где я останусь один и никто не напомнит о прошлом.

— Э-э, брат, ошибаешься. Не будет на земле такого края, пока жив Риссан. Ты же знаешь. Убей его! И каждая песчинка в этом мире станет местом, которое ты ищешь. Поверь, я знаю, — противно улыбнулся и покачал он головой. — Или он убьёт тебя.

— Подумаю, — соврал я. — Мне пора! Произнеси слова... освободи. И я поеду.

Он ещё раз взгляделся, а затем бросил ухо на стол. Хлопнул меня по плечу и сказал:

— Так и быть! Я принимаю и считаю твою клятву исполненной. Бог свидетель!

— Прощай!

— Удачи.

Я вышел на улицу и уже садился в машину, когда Кандуу догнал меня и спросил:

— А где, ты говоришь, закопал их?

Он стоял босиком в грязи. Я не спешил отвечать. Намеренно медля, окинул его взглядом с ног до головы. Ухмыльнувшись, ответил:

— Бактылуу-Таш, тридцать девятый километр, пятью метрами левее захоронения рода Кутту.

Он хотел ещё что-то спросить, но я уже не слушал и уехал, прежде чем вопрос прозвучал.

\* \* \*

Будум спал. Войдя в комнату, я невольно разбудил его. Он протёр глаза и живо присел на кровати в предвкушении новостей.

— Поверил? — возбуждённо спросил он, будто поставил на кон жизнь и с нетерпением ждал, пока откроются карты и судьба его решится. Между тем бинт наполовину окружности головы пропитался кровью.

— Нет.

— Так и знал! — он импульсивно шлёпнул себя по бедру. — А почему?

— Он умер, — отрезал я.

— Что!!! Как?! — от удивления Будум вскочил с кровати.

— Машина сбила. Даже в больницу не стали везти.

— Этого не может быть! — воскликнув, он схватился руками за голову.

— Ещё как может. Иногда, да какой там иногда! Часто сбивают насмерть. Особенно у нас. За рулём одни...

— Врёшь!!! — Вскричав, засновал по комнате, качая головой и повторяя: — Не верю! Не верю, ты врешь!

— Зачем мне врать?

— Чтобы защитить друга!

— Он мне не друг. Подумай сам. Его хоронят, а я здесь, с тобой.

— Пусть так! Но ты всё равно не хочешь, чтобы я мстил!

— Не кому больше мстить, — я опустил глаза и уставился в пол.

Когда я потерял отца, только неугасающая жажда мести, надежда и вера в непереносимое наступление дня воздаяния, определяя цели и расставляя приоритеты, давали мне сил жить дальше. В Будуме я видел себя — мальчика, что вчера наслаждался жизнью, не задумываясь о завтрашнем дне, а сегодня живёт одной лишь мыслью о мести. Я понимал, что им движет. И мне не хотелось, чтобы он испытывал чувства, которые очерствляют душу и делают людей жестокими. Поэтому решил соврать про Кандуу, не подумав о том, что известие может лишить Будума смысла жизни и погасить пламя внутри. Мне казалось, ложь во благо его будущего — лучшее из того, что могу предложить. Я полагал, узнав про смерть врага, тьма, заставшая взор, развеется, и он захочет увидеть краски жизни снова. Станет просить её сладостей и со временем забудет вкус крови. Надеюсь, весть о смерти Кандуу починит, переключит заклинивший механизм внутри мальчика, что, сломавшись, решил убивать. Но я ошибся.

Он бросился на кровать. Долго лежал неподвижно, бледный как мертвец. С перебинтованной окровавленной головой и открытым, свободным от повязки глазом, будто навсегда устремившимся в потолок. Губы едва заметно шевелились, словно он уговаривал тело отпустить душу, которая металась внутри, пытаясь вырваться на свободу. Туда, где жизнь на земле — лишь сон, а всё прожитое — небыль. Подальше от неработающих законов и безжалостных правил, от грязи земной и её жестоких отродий.

Он отвернулся к стене и, впервые не сдерживаясь, горько зарыдал.

Я подождал, пока порыв отчаяния и боли ослабеет, прежде чем заговорить.

— Я уезжаю... — тихо произнёс. — Помнишь место, где лучше? Я говорил. На северном побережье.

— Зачем? — выдавил он сквозь слёзы.

— Попробую заново...

— Ты не понял... Зачем ты мне об этом рассказываешь? Мне больше никто не угрожает. Зачем мне ехать с тобой? Зачем жить дальше? Как?.. Как мне жить дальше? — не оборачиваясь вопрошал он.

Я мешкал с ответом. Приблизившись, увидел сжавшегося в комочек ребёнка, лежавшего, как солдат в госпитале, страдающий от ранения в голову. Мне стало жаль мальчишку. Я коснулся его руки и сказал:

— Я научу.

*Наталья Белоедова*

## Память это не камни

\* \* \*

новые слова ещё не сказаны  
старые вертятся на языке  
голубые облака  
словно простыни полощутся в реке

дерево тянет руки  
к ним  
напоминает мать  
прополоснуть в ледяной воде  
хорошо отжать  
и пейзаж вдруг становится синим  
нарисованным карандашом  
тонкие ломаные линии  
снег со льдом

\* \* \*

ожидание никогда не встаёт в очередь  
оно занимает всю улицу  
начиная от того киоска с мороженым  
и заканчивая колесом обозрения

эта улица на всю длину зрения  
очень-очень долгая улица

нет возможности продвинуться  
с места сдвинуться  
ожидай там  
и ожидай тут

ещё немного постой ожидая  
тает над головой облако  
так и день тает

---

*Белоедова Наталья Анатольевна* — родилась в 1983 году в Ташкенте (Узбекская ССР). Окончила Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами по специальности «русская филология». Работает в сфере маркетинга и рекламы. Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Урал», «Юность», «Звезда Востока» и др. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живёт в Ташкенте.



\* \* \*

показалось  
нет не показалось  
небо расширялось и давило  
я тогда растерянно смеялась  
растерялась?  
что-то обронила  
слово  
про какое-то пространство  
перекрёсток улицу и реку  
я тогда тебя найти пыталась  
в этом незнакомом человеке

\* \* \*

если не думать о тебе никогда  
получается какая-то белиберда  
например  
ни утром ни днём  
и ни вечером  
словно мне делать нечего  
но  
не происходит  
ровным счётом ничего  
не замечаю птиц в окне  
осень дрожащую в листве  
воду замёрзшую в ручье  
и ещё много чего не

\* \* \*

память это не камни  
даже если они в карманах  
вот в оконной раме  
включили осень  
вот пролетели птицы  
стая ещё стая  
а я не могу вспомнить лица  
кладу руку в карман  
ощупываю камень  
вот вроде бы рот  
а вот подбородок  
вот ямочка на щеке  
да это точно ямочка  
и где-то в глубине памяти  
мигает лампочка

Алла Дубровская

## Дракоша и дешёвый самохвал

Рассказ

1

— А ты себя когда в первый раз помнишь?

Люба затынулась сигаретой и выпустила дым из ноздрей. В профиль она была похожа на дракона: узкое лицо, горбатый нос и высохшая, словно в чешуйках, кожа. Ещё и дым от вечной сигареты. Мама этого сходства не признавала и называла Любу обыкновенной козой. Мне такое сравнение не нравилось. Люба была для меня Дракошей. Жила она через площадку, заходила чуть ли не каждый день, обычно в халате и шлёпанцах. За ней по пятам следовала старая раскормленная собака, породу которой никто не знал. Феноменальную способность Дракоши переводить любую тему в разговор о себе я знала прекрасно, поэтому просто пожала плечами. Она и так уже что-то говорила, время от времени затыгиваясь сигаретой и покачивая ногой. И как всегда: она говорит, я не слышу. Слышу, лифт поднимается, дверь хлопнула. «Не к нам», — думаю. Слышу, дождь застучал по карнизу, чайник засвистел на плите, сейчас я ей кофе растворимый налью без сахара, но с молоком. «Молоко кончается», — думаю. Собаке печенье бросила, слышу, как она чавкает. В ванную пошла, дверь не закрыла, чтобы Дракоша не обиделась, а она всё говорит и говорит. Прислушалась. Уже что-то про Игоря. Это её молодой любовник. Разница в возрасте там лет двадцать, так что всегда найдётся на что пожаловаться. У них, как у любой пары, была своя история. Слышанная много раз, она мне порядком надоела. Если коротко, то у Дракоши неподалёку был свой маленький салон, куда Игорь ходил стричься. Ходил он туда, не знаю как долго, пока однажды не увидел там Любу, во всей её отцветающей красе. И влюбился. Ну ладно, не влюбился, так, увлёкся. Мама моя, всё сведя к простому расчёту, не допускала ни первого, ни второго варианта. Деньги у нашей соседки водились, но она их как-то беспечно транжирила, не заботясь о надвигающейся старости. Правда, купила подержанный «Форд» с малым пробегом, а разъезжал в нём, как понимаете, всё тот же Игорь. За Дракошу обидно, она была высокой и худой, с тонкой талией и длинными ногами. «Сзади пионерка — спереди пенсионерка», —

---

Алла Дубровская — прозаик, родилась в Чите в семье военного лётчика. Работала учителем истории, экскурсоводом, теплорегулировщиком. Рассказы и повести печатались в журналах «Звезда», «Октябрь», «Урал» и др. Автор книги избранной прозы «Египетский дом» (2019). Лауреат премии имени Марка Алданова (2022). Живёт в Нью-Йорке.

В «ДН» печатается впервые.

это она о себе. Так что там про Игоря? Пришёл в белых брюках, испачканных губной помадой. Ну, пришёл ведь, говорю. «Мог же и совсем не прийти», — думаю. И тут же пожалела, потому что Люба мысль мою прочитала, у меня на лице всегда всё написано, сигарету затушила и, сухо распрощавшись, удалилась. Собака, естественно, поковыляла за ней.

Дождь усилился, как-то вдруг стемнело, хотя время было ещё не позднее, в коммунальной квартире напротив зажглись окна кухни. Занавесок там никогда не вешали, считая, что тётки в халатах и мужики в трениках никого не интересуют. В нашем дворе-колодце все друг друга знают, так что скрывать нечего. Говорят, в Амстердаме на окнах нет штор по той же причине. Какие могут быть тайны у праведных протестантов? Заглядывайте. Смотрите. Вот я и вижу: баба Зина на плиту чайник ставит. Значит, мне пора собираться на работу. Когда-то она пристроила меня уборщицей в зубную поликлинику, так с тех пор в одну смену и пашем. Вернее, пашу я, а баба Зина руководит. Я не возражаю. Она моя благодетельница. Помню, как начальница отдела кадров, поджав покрашенный ротик, с брезгливым недоверием разглядывала мою трудовую книжку: дипломированная, уволенная по статье.

«Никогда бы вас не приняла, да Зинаида Алексеевна просит, она у нас заслуженный работник, отказать ей не могу!»

Баба Зина ходила с трудом, переваливаясь с ноги на ногу. Мыть полы в коридорах ей было не по силам. Зато она с удовольствием убирала кабинеты начальства, в которых нет-нет да и перепали ей остатки пиршеств и подношений. Чистку плевательниц поначалу мне не доверяли. У зубных врачей царствовала тётя Валя. Через пару лет, когда она ушла на пенсию, а мне уже была известна каждая выбоина на линолеумном полу и все углы лестницы, в которых накапливалась грязь, я получила «повышение», и запретных зон для меня не осталось. Так я перешла на уборку врачебных кабинетов и постепенно перезнакомилась с лечащим составом поликлиники. В основном это были дамы средних лет с садистскими наклонностями. Для меня было загадкой происхождение этих наклонностей: то ли они врождённые, то ли развились по ходу зубоврачебной практики. Ладно, шучу. Молодые и обещающие у нас не задерживались, остальные, на бреющем полете, дотягивали до пенсии с какими-то льготами, в которых хорошо разбиралась баба Зина, я же никогда не могла запомнить, что и кому полагается за выслугу лет. И всё шло своим чередом до тех пор, пока в один прекрасный год это «всё» вдруг не развалилось и наша государственная поликлиника мучительно не переродилась в кооперативную. Помню, как в тот же год обнулились мамины деньги на сберкнижке. Пришлось утешиться тем, что такое произошло со всеми. Ну да ладно. Пора догонять бабу Зину, пересекающую двор под чёрным допотопным зонтиком.

Наломавшись по лестницам и коридорам, да ещё прихватив пару кабинетов с заляпанным линолеумом, я думала, что усну, как только доберусь до подушки. Не тут-то было. Уже где-то за полночь, уставившись в потолок, по которому бродили пятна света, я вспомнила вопрос Дракоши. Да вот же моя первая память: зимние сумерки, потолок в палате детской больницы, мелькание света от фар машин, ощущение потерянности и одиночества. Мне года четыре, наверное. Первая разлука с мамой. Страх, что меня забудут и оставят там навсегда. Нет, не уснуть. Побрела на кухню. Двор спал. Ни в одном окне не горел свет. С бидончиком для дачной клубники мама с утра уехала к приятельнице в Токсово. Скорее всего, из-за дождя осталась там ночевать. Стоит или не стоит тревожиться? Какой idiotский вопрос, когда тревога разрастается сама по себе.

Мама моя красавица и в свои шестьдесят. Несмотря на все уговоры Дракоши обрезать старомодную и уже совершенно седую косу, она продолжает её туго заплетать и укладывать короной вокруг головы. Комсомольская богиня, да и только. Я — в папу, которого видела всего несколько раз. Плюгавенький такой мужичок, может, в молодости и был ничего. Я не знаю, как ему удалось произвести впечатление на маму. Моё детское любопытство было пресечено раз и навсегда решительным «был, да сплыл». Так что я продукт воспитания двух женщин: бабули, пока она была жива, и мамы. С мамой мы, скорее, подруги. Заботливые подруги. Я привыкла, что она всегда есть, всегда рядом. Наверное, это её настораживает. «У тебя должна быть своя жизнь», — говорит она мне время от времени, как будто я проживаю не свою, а чью-то жизнь, деля с ней нашу комнату. Она женщина решительная и энергичная, а я выросла задумчивой тихоней. Такой и была до поры до времени, пока что-то не произошло и это «что-то» не изменило мою жизнь.

На кухне делать было нечего, пришлось возвращаться в постель. У нас уютная комната. Каждый сантиметр двадцати квадратных метров заполнен маминой любовью: полочками с книжками и статуэтками, буфетом с хрустальными рюмочками и серебряными ложечками. Здесь был родной особый запах. Так для всех детёнышей сладко пахнет только мама. Моя мама пахла с лёгкой примесью духов «Красная Москва». Вся её несложная жизнь выставлена в небольшой галерее фотографий в буфете. Вот она строгая девушка в телогрейке на комсомольской стройке, а вот уже в сшитом на заказ шёлковом платье, подчёркивающем расплывшую фигуру. Дальше я с трубкой детского телефона, прижатого к уху (ало-ало!) и бантом-пропеллером на макушке. Бабуля уже совсем старенькая, вся в морщинках. Все мы здесь, в этой комнате, только нет у нас ни одного мужчины. Я сплю на тахте, мама занимает полуторную чешскую кровать с деревянными полированными спинками. На ковёр мы накопили. Он красуется цветочным узором над маминой кроватью. Когда-то у нас была соседка — одинокая старушка Елизавета. Хоронить её пришлось нам с мамой, правда, немного денег дала церковь, к которой Елизавета прибилась незадолго до смерти. Прописаться в освободившейся комнате исполком нам не разрешал, но к Дракоше на перманент ходила дама из какой-то комиссии. Благоухая духами, дама зашла к нам. Она мельком взглянула на пустующую жилплощадь и улыбнулась перламутровыми губами: «Это же совершенно непригодно для жилья! Спишем под ванную комнату». И списали. И обошлось совсем недорого: одна моя месячная зарплата. Приватизировали мы свою комнату, а теперь уже отдельную квартиру, без сучка и задоринки. Чтобы мы делали без Дракоши? На наше счастье, к ней в салон ходят всякие полезные люди. «Знакомства решают всё! — часто говорит она. И добавляет: — Вот что бы я делала без тебя?» Это правда. Наша дружба началась с того, что ещё в пору развитого социализма Люба попала мне на лестнице с раздувшейся щекой. Пройти мимо этой разрывающей душу картины было невозможно. «Боюсь», — жалобно сказала она, еле открывая рот. Пришлось пообещать лучшего специалиста нашей поликлиники. Тогда у нас работала Сашенька, она и спасла Дракошу. Делая большие глаза, Сашенька рассказала, как некая докторица аккуратно запломбировала Любин моляр, забыв вытащить из канала иглу с ваткой. Началось воспаление. Короче, Дракоше несказанно повезло столкнуться со мной на лестнице.

Заснуть под ворохом этих воспоминаний никак не удавалось. Так я и промыкалась всю ночь, пока не начало светать. На Литейном звякнул первый трамвай, тихим перезвоном ему ответили рюмочки в буфете. Утро просочилось в комнату сквозь щёлку в занавеске, обозначив корешки книг на полке: любимые томики Толстого, потрёпанные «Люди, годы, жизнь» и, словно вставной зуб, втиснутый в неровный

книжный ряд, голубой кирпич «Истории СССР». Зачем он здесь? Кому нужна история страны, которой нет? Что за дурацкая сила заставляет хранить этот анахронизм?

Начиналось-то всё совсем неплохо. Это я не про СССР, это я о себе.

В смысле школы. Не скажу, что любила алгебру с физикой, вернее, училки по этим предметам всегда попадались какие-то злобные. Они вселяли в меня такой страх, что я не могла осилить ни одной контрольной. Приходилось тыкать линейкой в спину отличницы Герасимовой, прося дать списать. Иногда эта спина дёргалась с раздражением, мол, отстань, но чаще я всё-таки получала решение задачки, накарябанное на куске промокашки. Зато на уроках истории наступало блаженство. Дорогая Ирина Сергеевна, милая наша историчка, она так часто улыбалась, что я навсегда запомнила щербинку у неё между передними зубами. Лет с девяти я была юным археологом, красным следопытом, запоем читала исторические романы и после школы намеревалась поступать в универ. Ирина Сергеевна мягко, но настоятельно советовала идти в педагогический, говоря, что там профессорский состав гораздо сильнее. Эта маленькая ложь должна была спасти меня от неминуемого разочарования: у девочки с моей фамилией шансов пройти по конкурсу в университет практически не было. И спасла. Поступление на исторический факультет пединститута произошло безболезненно. Партийные съезды и борьба с оппортунизмом мирно уживались в моей памяти с законами Хаммурапи и плачем Ярославны. Верность комсомолу и принципам строителя коммунизма оставалась незыблемой до окончания третьего курса, когда до мамы дошло, что через год я уеду по распределению в какую-нибудь отдалённую деревенскую школу. «Я же останусь совсем одна, а если умру до твоего возвращения, комната перейдёт государству», — сказала она дрожащим голосом. Пришлось перевестись на вечернее. Там-то всё и случилось. Что случилось? А то, что из юной комсомолки я довольно быстро превратилась если и не в диссидентку, то в человека, не верящего ни единому слову, доносящемуся из телевизора.

Вечерники отличались от студентов дневных курсов. Они и по виду были другими: солидными, усталыми, не такими шумными. Кто-то засыпал прямо на лекциях. Сидя в первом ряду, я аккуратно записывала крупным разборчивым почерком всё, что слышала. Такая прилежность не прошла незамеченной: довольно скоро ко мне подсел Генка Офицеров. Он успел отслужить в армии, был широкоплеч, но невысок и как-то непропорционально скроен, к тому же рано облысел. Словом, не красавец, но ведь и меня нельзя было назвать даже хорошенькой, хотя мама никогда этого не признавала, говоря, что просто я гадкий утёнок, который однажды превратится в прекрасного лебедя. В ожидании превращения я подружилась с Генкой, ему нужны были мои конспекты: днём он дежурил в пожарной части где-то на Выборгской стороне и часто не успевал на лекции. Корыстное внимание Пожарника, как я прозвала Генку, было понятным, но мама почему-то уповала на его другой интерес, сказав однажды знаменитую по тем временам фразу: «Из искры возгорится пламя». Смешно, учитывая работу Генки. Как бы там ни было, именно он привёл меня на факультативный курс по новейшей истории Венгрии.

В небольшой аудитории, набитой студентами, место отыскалось только для меня, Генка примостился на полу. Доцент был сухонький, со скрипучим голосом, в очках с толстыми линзами. Не поднимая головы, он читал что-то из тетрадки, переворачивая исписанные страницы. Вслушиваться в монотонное чтение было трудно, потихоньку я стала задрёмывать. Вспоминать об этом неловко. После лекции Генку распирало от желания поделиться впечатлением, а я отвечала набором штампов, вложенных в мою голову, мол, контрреволюционный мятеж, чего тут непонятного?

---

*Валерий Пискунов*

## Меж гор Бештау и Железной

*Рассказ*

*Брату*

\* \* \*

Однажды августовским полднем трое отроков загорали на скальном отроге Железной горы. За их спинами притих лесистый склон, а перед ними вдали высокими вдохами поднимался Бештау — легендарный лермонтовский Бешту. У его подножия влажно темнело урочище ручейной речки Джемухи. В кустах кизила над пушистым гнёздышком попискивала, словно протягивала ниточку в иголочку, вёрткая в тени пеночка. Гена, курчавый, толстенький, кивнул в сторону Бешту:

— Откуда течёт эта речка? Тонкий ручеёк, а вырыл такой овраг!

Виктор, почти на полголовы переросший друзей, потянулся и раскинул руки. Позёвывая, сказал:

— Городка и в помине не было, а ручеёк тёк, тёк, тёк...

Юра, зеленоглазый, худой, держал на ладони агатовые ягодки кизила и прицеливался, с какой начать. Разговор друзей его отвлёк. Он скользнул взглядом по склонам Бештау, по его отрогу — Козьему перевалу, — задержался на Медовке: ярко, слепяще отзывались солнцу её пасынки — Орлиные скалы.

— А давайте назовём наш городок Джемуши.

\* \* \*

Сознание вспыхивает мгновенно. И тут же приступает к освоению подсобного ему тела. Глаза перехватывают и тормозят летящий с космической скоростью свет. Уши принимают тысячелетиями отшлифованными бороздками грубоватые звуки сиюминутной суеты. Ноздри! Бедные ноздри соревнуются со световым приятием и звуковым неприятием. И тут же, за плечами подростка, короб предуготовленной памяти — сознание ежеминутно говорит: «Ты уже знаешь это!» Но подросток «этого» не знает и делает вид, что знает.

Это было время странного противоборства и взаимоосвоения самобытно возникшего сознания и, против сознания, Бог знает откуда и как явившейся души.

---

*Пискунов Валерий Михайлович* — прозаик, родился в 1949 году в Кисловодске. Автор четырёх книг. Рассказы, повести и романы печатались в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир». Живёт в Ростове-на-Дону.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 7.

Между ними подросток был ещё только предлежащим на невозделанном поле противоборства. Сознание на вопрос о своём происхождении отвечало логически обоснованной ссылкой. Душа же вошла в подростка ниоткуда и молча, стихийно в нём пребывала. На вопрос «откуда ты?» душа беззвучно волновалась и понуждала все чувства превосходить сознание в тонкости восприятия природы.

Подростку казалось, что увлекательное противоборство между сознанием и душой — это естественная, как и его рождение, жизнь человека. Птица летает, поёт по-своему, потому что у неё такой окрас. Мелькнувший по склону сайгачёнок не запоёт и не полетит. И подросток, как ни подражай, не уподобится ни птице, ни сайгачёнку. Природа, щедрая на разнообразие, каждое существо осудила на невозможность выхода за границу своей неповторимости. Сознание настраивало струны мышления и выслушивало их звучание. Душа, возвышаемая небом, озирала горы, низины, втягивала в себя и превращала в подвздошную мечту весь окоём с хрустальным навершием Эльбруса.

Русский отрок существо на земле особенное. Одиннадцатилетнему Серёже Радонежскому на лесной тропинке открылось чудо духовного подвига: всею своей жизнью будешь сопрягать мятущееся сознание и мятущуюся душу. На русской земле этот подвиг называется совестью, *со-вестью*. Не сказать, что он каждодневный, но неизбежный.

Итак. Поздним вечером в парковой аллее отрок Юра увидел женщину. Она пыталась подняться с лавочки. Она стонала, хватала руками спинку, отталкивалась, налегала на темноту и опять роняла себя на лавочку. Сердце отрока заколотилось, перебивая дыхание. Фонарный плафон исподволь освещал лоснистые листья липы. Там же кружились мотыльки, упиваясь доступными им волнами электронов. Женщина застонала, воскликнула и уронила себя в колени. Подойди, помоги! Юра толчками подошёл. Язык, волнуясь в слюне, не знал, что сказать, а нос уже унюхал густой запах пота и алкоголя. Нутро отрока заволновалось, закружилось, подобно мотылькам вокруг фонарного плафона: сознание отказалось судить, душа отказалась врачевать.

В сентябре полетели липовые вертолётники. Школа звенела от детских голосов. Юра успел обернуться, когда на него налетел супостат Пендя:

— Цокнемся!

Они схватились в школьном коридоре, но подоспела завуч, растащила за шивороты:

— У вас есть совесть?

После школы Юра пошёл в библиотеку. Здание было старинное, маленькое, но, как говорил преподаватель литературы, здесь хранились редчайшие книги, некогда забытые промелькнувшим Пушкиным, задремавшим Лермонтовым, ехавшим на Кавказские рудуты Толстым... Библиотекарша, сухая, строгая, спросила:

— Зачем тебе словарь на букву эс?

— Сова! Задали рассказать о жизни совы. — Юра ответил так искренне, как мог, не мигнув, отразив взгляд серых глаз библиотекарши.

Она отправила его в читалку: шесть столиков по стенам, два узких высоких окна. Юра сел у окна и положил перед собой толстый коричневый том с вытисненными на титуле словами: «Владимир Даль. Толковый словарь».

Тугие пергаментные листы открывали Юре тайну слово за словом. Он сначала честно нашёл «сову» и узнавал хищную, весёлую, таинственную жизнь той серой,

сонной куколки, которую как-то днём снял с дубовой ветки и кинул в небо, свистом побуждая её проснуться.

Слово «совесть» имело в себе странную букву — мягкий знак с крестом вместо обычной «е», и сразу, без объяснения, без предупреждения Юре предлагалось принять и понять, что совесть — это нравственное сознание, нравственное чутьё. Нравственность он понял быстро: вечерами, если случалось проходить мимо хлебозавода, из-под ворот вылетал заливистый Кабысдох и норовил ухватить за ногу. Сторож дружелюбно объяснял: «Да что с него возьмёшь? Нрав такой!» Но дальше понимание вползало в пластилин: у Кабысдоха нравственное сознание и нравственное чутьё? Даль подсказывал: внутреннее сознание добра и зла. Это было понятно как объяснение, но там, где царапало недоумение от уподобления совести злобному кобелю, там, за грудиной, в нутре нутра, вертелся мелкий смерчик непонимания, не было в этом укромном нутре чувства, способного ухватить призрак. И доктор Даль подавал лекарство: «Тайник души». Это было здорово, тайник нутра наполнялся тайником души! Юра вздохнул всей грудью и вдруг подумал: «А ведь в тайнике можно спрятать так, что вообще никто не найдёт. Ага?» Но врачеватель Даль, видимо, имел дело с такими немощными: «У него совесть мешок: что хошь положи». Юра, довольный непреднамеренным открытием и совпадением с давно известным диагнозом, всё-таки повёл глазами по спотыкливым, через ять, строчкам и прочитал нечто особенное по стилю изложения — до сих слов он читал как бы нравоучительную сказку, а тут сказка вдруг переходит в строгий научный тон: «Чувство, отвращающее ото лжи и зла. Невольная любовь к добру и к истине». — И ещё наставительнее: «Прирождённая правда в различной степени развития».

Совесть так и повисла в сознании и в душе недопонятым, словесно обыгранным призраком: со-весть, то есть, какая весть, столько и отвесь.

Однако нравственная натура требовала усвоения, а если повезёт, то и успокоения.

Юра поднялся на склон горы Железной и лёг в тени под неказистой елью.

Если искать успокоения, то в небе. Там, на высоте невероятной, летел самолёт, самолётик, не больше точки на глазной радужке, и трудолюбиво гудел. Сощуриив веки, Юра наблюдал, как этот зудящий комарик преодолевает чистое, распахнутое для любой птицы, для любой мысли, без запинки дарящее лёгким воздухом... Минут через двадцать самолёт преодолел, примерно, сантиметр, потом ещё полсантиметра. Ждать, пока гудящий жук разрешит загадку между высотой и скоростью, было неинтересно. Юра отвернулся и, кажется, задремал.

\* \* \*

Городок, как уже известно, переименованный в Джемужи, — хранитель заповедных целительных источников. Приливы и отливы курортников давили на быт городка, но подростки старались избегать инородного давления. Тем более что городок окружали доисторические лакколиты, поднятые игрой земной коры. Из окна своей комнаты, в которое смотрел Юра, он видел пятью волнами восходящий, описанный и воспетый Бешту. Выходя из дома, он сразу упирался в наседающий склон не менее сказочной горы Железной. В окна школы можно было увидеть вершину Развалки — горы, налитой лютым дымящим холодом. Сызбока Бешту — гора Медовая, подпёртая каменными уступами Орлиных скал. Было где разгуляться фантазии.

Подростки, окружённые зовущими вверх горами, взрослеют быстрее, быстрее обретают самобытную пружинистую основу. У них все те же человеческие чувства, но щупальца этих чувств длиннее и подчинены именно горами, скалами, осыпями и Бог



знает чем ещё воспитанному сознанию. Природная диковатая проницаемость этого сознания колобродит не только в чувствах, она толкает подростков к чему-то большему, дальнему, немислимому.

Растущее сознание уже не удовлетворяется ближними чувствами и ухищряет зрение. Освоение пространства требует хищной зоркости и расчётливого глазомера. Юре особенно увлекательно было наблюдать за теми, кто умеет летать, за подъёмной работой их крыльев: толстый жук вдруг выпускал из-под хитиновых надкрыльев маленькие слюдяные перепонки и без разбега, словно усилием игривой мысли, поднимал себя легче собственной тени. Ещё были бабочки. Летит, болтается, как бумажка, не сообразуясь с ветром, где против него, где поперёк, но вот расправляет крылья, упруго, уверенно ложится на подлаженный под её полёт воздушный поток и точно, цепко садится на цветок! Юре так и хочется воскликнуть: «Думает!» Душевное согласие с прозревшим сознанием нарушает городской одержимый охотник за бабочками. Свои выходки с детской кисейной ловитвой он объяснял ребятам так: «Мой позывной Фальтер, и я вылетаю на поимку баттерфляев и попилотов. Поймал, умертвил и описал».

Юра не мог не признать определённой правды за одержимым Фальтером. Он уже понимал, что открытый любознательным Далем тайник души перехватывает любой во вне направленный взгляд и наделяет его каким-то своим волшебным смыслом. Иначе как объяснить ту сверхзоркость, с которой Юра видел настоящий полёт бабочки, когда с её крыльев слетают разноцветные чешуйки и стелются во след в виде узора её крыльев?

Прыгнуть на турник, подтянуться, сделать кувырок и повиснуть головой вниз. Тайник души вбирал увиденный Юрой перевернутый мир и складывал в поджидающую память.

Усвоив подвижность угла зрения, закреплённую доказательствами геометрической науки, Юра поднимался на любую из ближайших вершин и обнаруживал всю относительность и условность так называемого пространства. Освоенный самозачётным сознанием горизонт всегда отмечал за горами-взгорками прищуренные снега Эльбруса. Так было. И так было бы всегда, если бы в продуманную геометрию вымышленного пространства не вмещалась ещё одна сказочная выдумка — время.

Юра вырослел. Если с детства знаком с каким-либо деревом, то всегда знаешь, вползая по его стволу, ветвям и развилкам, что оно тебя никогда не обманет. И как бы само собой соотносишь своё пролазливое бытие с безобманным самостоянием добродушного дуба или прижившейся у древнего почтового тракта липы. Деревья были как бы Юриными современниками, он сидел на ореховом дереве, беззастенчиво обламывал ветку и сдирал недозревшие плоды, когда вдруг понял, что на взгляд этих толстых стволов он всего лишь один из возмнивших о себе листиков.

Взрослеют толчками. А вот и подоспевший пример, предложенный услужливой памятью и ничего не забывающими джемушинскими горами. Ватажка друзей, положим, человек пять, уже окрепших и нетерпеливых подростков, переваливает через Малый Бештау. Недалеко в низинке — озеро и небольшой хутор. На ближнем холме маячат явно хуторские пацаны. По их прыгучему поведению и свистам джемушанские подростки понимают, что надо быстро уходить. И вот тут начинается то самое взросление: уйти надо так, чтобы избежать унижительной, может быть, кровавой трёпки. Ватажка джемушан вбегает в лес и молча, только вразнобой топают ноги, бежит, тесня друг друга, по извилистой тропе. Свист и гиканье хуторских, хруст и шелест ломаемых кустов сообщали джемушанам, что их окружают. Юра чувствует,

что убегать ватажкой тесно. Он делает рывок вбок, как говорится, прерывает след и, крутнувшись через кусты жимолости, замирает. Он слушает, как диковатая хуторская ловитва рассеивается где-то внизу. Но, если по сути взросления, — Юра сидел под кустом, переживал и тайником нутра думал о том, как всё-таки силён инстинкт самосохранения: пренебрегая скоростью бега, биением сердца, переживанием страха, инстинкт поверх всех этих временных ухищрений и убыстрений хватает человека за шкирку и кидает туда, где его не найдут.

Надо всё-таки повторить ещё не вполне усвоенную разумением истину: взросление идёт толчками. А вот что может стать причиной толчка — это вообще не передать по наследству даже самому близкому, кровному родственнику. Юра вырос так, словно судьба, подставляя каверзы, завязывала ему узелки на память.

Одно чувство — стрелять из «воздушки» по неподвижной мишени, другое — если завтра впервые идёшь на *тягу*, а у тебя старая берданка и два патрона с бекасиной дробью. Тяга — это понятно, все охотники говорят, что жить без охоты не могут; когда подходит пора, их просто тянет в лес, в поля, на болота и вообще хоть на край света. Но вот же загадка: завтра предстоит подойти к определённом месту, насторожиться и ждать подлёта птицы, наверняка избегающей смерти. И как быть, если потянет вальдшнеп, а у Юры дробь на бекаса?

Осень была поздней и слякотной. Листва держалась и тяжелела от влаги. Охотники разошлись и поднимались к подножию Бештау редкой, человек семь-восемь, цепочкой. Прошли еловый питомник, остановились, поглядели на небо, на вечеряющее солнце и вошли в тонкоствольный, но густой орешник. Здесь решили остановиться: между верхушками орешин и молодым ельником был чистый прогал, удобный для стрельбы. Юра взял ружьё на изготовку и спросил соседа слева: «Долго ждать?» — «А вот как солнце присядет, так и слушай».

Сосед справа спорил со своим соседом справа, откуда ждать вальдшнепов. Его сосед сказал: «Каких вальдшнепов? Со стороны Вороньих лугов пойдут дупеля! Только слушай: чичика, чичи-качи! А если вальдшнепов — так это на Конезавод!» Сосед справа махнул на своего соседа справа и кивнул через Юру соседу слева: «Слышал? Кажется, он с утра в дупель! Какие Вороньи луга? Когда там водился дупель?» Юрин сосед слева дымнул сигаретой и сказал: «На Вороньих никогда не было дупелей. Там, под рощами, всегда водились бекасы».

Юра заволновался, сопрягая горошины патрона с непониманием, кого и откуда ждать. Но тут в тишину предгорья вонзился сверлящий звук, потом второй. Охотники насторожились и вскинули ружья, словно они-то и были слуховыми аппаратами. Юра тоже вскинул, прижал приклад, протянул взглядом вдоль ствола и — ясно, как будто видел уже когда-то вылет птицы из орешника: вытянув клюв, прижав крылья, гудя растопыренным хвостом, вальдшнеп подъёмной дугой обошёл Юрин выстрел и нырнул в еловую рощу.

\* \* \*

Ну и как миновать опыт первого опьянения? Впрочем, чтобы подступиться к этому опыту, необходимо небольшое историческое отступление.

Солнечным осенним утром класс отправился на экскурсии по лермонтовским местам. Из Джемусей на электричке, с пересадкой на мемориальном полустанке Бештау, к полудню прибыли к подножию Машука. По асфальтовым дорожкам посетили забраный решёткой грот Дианы, поднялись и послушали ветренное молчание

*Вера Зубарева*

## ПИСЬМО ДОМОЙ

\* \* \*

...А когда наступает вечер,  
Прибывают к морям берега,  
Подключается память-диспетчер,  
Отправляется сон в бега.

Сквозь ночного тумана завесу  
Брежит парусник-пилигрим.  
Все дороги ведут в Одессу,  
Что бы там ни рассказывал Рим...

\* \* \*

Я жил тогда в Одессе пыльной...  
*А.С.Пушкин*

Он был тогда с собой в разлуке,  
И разлезалась жизнь по швам,  
И он мечтал о Петербурге,  
И снег не шёл, и карта шла,  
Кареты хлюпали по грязи,  
Сводила оттепель с ума,  
И лишь в театре по заказу  
Стояла снежная зима.  
Как будто дело было в снеге...  
Томил и город, и причал,  
И он немного был Онегин,  
Немного Ленский и скучал.  
Всё было чуждо — разноречье  
И моря Чёрного разгул.  
И он мечтал о Чёрной речке  
На том скалистом берегу.

---

*Зубарева Вера Кимовна* — поэт, прозаик, литературовед, Ph. D. Главный редактор журнала «Гостиная». Автор литературоведческих монографий, книг стихов и прозы. Лауреат Международной премии им. Беллы Ахмадулиной (2012), Муниципальной премии им. Константина Паустовского (2010) и других. Живёт в Филадельфии (США).

\* \* \*

Вход с улицы, и затуханье вечера,  
Шум голосов...  
И думаешь: ну что здесь вечного?  
Да всё, да всё, —  
Что помнилось и что забылось вроде бы,  
Сверкнув на миг,  
И перемены в море, в городе  
И в нас самих,  
И тот маяк, с историей повенчанный,  
Аэродром,  
На тротуаре, как сосуды, трещины,  
Письмо домой, что так и не отвечено,  
И поиски ответов под пером...

### *Притча*

Наступили тёмные времена.  
За окном — непроглядней морского дна.  
Во дворах залегла тишина.

...И отец возвратился  
Из дальних морей.  
С ним причалило прошлое, встало на рейд  
И зажгло луну во дворе.

И дивились в соседних дворах — как светло!  
И всю ночь восклицали — вот повезло!  
А к утру у всех рассвело.

И дворы убедились:  
Никаких чудес.  
Просто в каждый вернулся отец.

\* \* \*

Старые фотографии.  
Виды знакомых мест.  
Города биография,  
В гуще прохожих — отец  
Вдруг проявился... Присмотришься —  
Нет, это чей-то другой.  
Столб подпирает кореша.  
Выгнулся мост дугой.  
В шапочке белой резиновой  
Пляжница, как поплавок.  
Рядом волна позирует  
Так, что фотограф намок.  
Тает июльская улица,  
Тает волшебный пломбир,  
Тает душа-союзница,  
Строится прежний мир.  
Парк, карусель, на жирафе я  
Делаю виражи.  
Старые фотографии —  
Катер в бессмертную жизнь.

*Игорь Малышев*

## Певчая птица

*Рассказы*

### *Сквозь замочную скважину*

Я живу в девятиэтажке на первом этаже, и на девятом делать мне нечего. Но такой уж я человек, люблю бывать там, где мне делать нечего. Возможно, именно поэтому я когда-то занялся музыкой и литературой. Так вот, о доме. Однажды я возвращался довольно поздно, или рано, как посмотреть. Дом спал, и я от нечего делать вошёл в лифт, жильцы первого этажа не платят за него, и поэтому, строго говоря, пользоваться лифтом мне не положено, но я вошёл и поехал максимально высоко, на последний, девятый, этаж. Оказалось, что девятый на самом деле не последний. Железная лестница вела выше. Я прошёл два пролёта и оказался в маленькой комнатке. Знаете, в высотках на крышах есть такие «домики Карлсона». Вот там я и оказался. Белёные стены покрывала сажа, похоже, когда-то здесь был пожар. Помещенье совсем маленькое, но тем не менее там нашлось целых две двери. Одна, с небольшим зарешённым окном, вела в ещё одну комнатёнку, где стояли мотор лифта и электрошкаф. Это я выяснил, посветив внутрь фонариком телефона. Вторая дверь была деревянной, глухой — без окошек. На двух проушинах висел довольно внушительный замок, под которым чуть светилась замочная скважина. Я присел, заглянул в неё.

Если вам случалось зимней ночью в городе поднимать голову, вы наверняка видели, что небо, серое, в низких облаках, обласканное электрическим жёлтым светом, обретает красноватый оттенок. В юности я сравнивал этот цвет с шинелью, вымокшей в крови. Сейчас я сторонюсь подобных оборотов, но суть моя юношеская восприимчивость уловила верно. Серо-красный оттенок. Станный и волнующий...

Ветер, холодный, зимний, прорвавшийся сквозь замочную скважину, окатил зрачок.

Вид открылся совсем неожиданный. Небо было не красновато-серым, не мышинным, лишь слегка оживлённым краснотой, а жёлто-багровым, за которым

---

*Малышев Игорь Александрович* — прозаик, драматург, поэт. Родился в 1972 году в Приморском крае. Получил высшее техническое образование. Печатался в журналах «Новый мир», «Нева» и «Дружба народов». Автор восьми книг прозы и нескольких пьес. Финалист ряда литературных премий. Живёт в Ногинске Московской области.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 5.

едва угадывался серый фон облаков. Небо жило какой-то напряжённой, исполненной борьбы жизнью. Свинцовое, кровавое, жёлтое и, даже несмотря на ночь, в чём-то солнечное, оно походило на неподвижную, но исполненную огромной энергии и страсти вольфрамовую нить в лампочке, если только можно представить вольфрамовую нить величиной с небо.

Я не узнавал крыш окрестных высоток, не узнавал неба, не узнавал этой планеты, если угодно.

Я отвернулся, зажмурил слезящийся от ветра глаз.

Это было ни на что не похоже. Бред, наваждение. Я посмотрел на покрытые сажей стены, кое-где исцарапанные детскими надписями. Посмотрел на ячеистые железные ступеньки, что привели меня сюда. Всё выглядело обычным, как собственная ладонь, как квитанция об оплате квартиры, как любая из купюр в моём кармане. Я заглянул в замочную скважину. Снова ветер в глаза, снова напряжение неведомой, непонятной мне небесной жизни. Огни, изломанный крышами горизонт, над ним столкновение красного, жёлтого и серого. Там кипели в глухом, замершем противоборстве три цвета.

Дёрнулся мотор, начал крутить трос и опускать лифт, на котором я приехал.

Я ещё раз взгляделся в чужое странное небо и принялся спускаться к себе, на первый.

Однажды я предложил задержавшимся у меня допоздна гостям отправиться в путешествие на девятый этаж.

Я привёл их к двери и показал замочную скважину.

— Офигеть!..

— Слушай, а что это?..

— Да ладно!..

Я не знаю, что они увидели, я не расспрашивал, мне достаточно было их реакции. Они, как и я, увидели нечто выпадающее за границы их понимания. И поэтому я просто пожимал плечами и говорил им:

— Да... Вот так... Красиво, правда?..

Я и сам заглянул в скважину. Нет, здесь ничего не изменилось. Небо, грозное небо всё так же вело какую-то свою потаённую ночную борьбу. Снова яркие краски, неузнаваемая ломаная линия крыш. На это можно было смотреть долго, как в калейдоскоп, пусть здесь почти ничего и не происходило.

Мы ещё не раз ходили туда, на последний этаж, и возвращались всё с тем же ощущением, что заглянули в некий потаённый карман мироздания, возможно, для людских глаз не предназначенный.

Потом мы как-то напились, взяли молоток с гвоздодёром и вошли в лифт. Сорвали у дверей навесной замок, вытащили несколько толстых гвоздей, вбитых в притолоку. Дешёвый китайский инструмент превратился в подобие иероглифа, но дверь мы открыли.

Она распахнулась, зима и холод окатили нас. Перед нами была крыша, а за ней... обычное небо, обычный изломанный многоэтажками горизонт. Ни намёка на жестокий карнавал света. Никакого напряжения в небе над нами.

Никто не произнёс ни слова. Каждый переживал разочарование в немоте.

Вышли на крышу. Снег хрустит под ногами. Свежо. Высота. Внизу бегут по освещённому проспекту машины. Всё банально, пусть и видится с немного непривычного ракурса.

Но где оно?.. Где дыхание неведомого, приходящее сквозь замочную скважину?

Последнее время я жил с ощущением ребёнка, у которого в кармане лежит волшебный камушек, а теперь... Что мне остаётся?

Домой вернулись молча, остатки допивали тоже почти не разговаривая.

Дверь на крышу вскоре поменяли. Теперь в ней не было ни малейшей щели, сквозь которую можно было бы посмотреть вовне.

Наверное, ЖЭК. Хотя, может, и некая контора, призванная следить за тем, чтобы люди не заглядывали куда не надо.

### *Пыль на тёмном стекле*

В деревне выключили свет. Я стою и смотрю снаружи в их окно. В доме пара взрослых и четверо детей.

Дети устраивают представление. Сейчас это так странно — устраивать представления. Но эти устраивают. Детям весело, взрослые смеются.

Под потолком висит керосиновая лампа, такую ещё называют летучей мышью. Огонь её слаб, но всё равно обитатели дома видны мне гораздо лучше, чем я им.

Дети резвятся. Они прячутся в чулане за занавесками, меняют одежды, что-то разыгрывают, какие-то сценки, импровизируют, громоздят глупость на глупость, но они так чисты в своей бесхитрости и желании понравиться.

Сквозь оконные стёкла доносятся обрывки фраз, смех, топот по половицам.

Пользуясь тем, что никто не смотрит в мою сторону, я трогаю стекло. Оно тонкое, надави я чуть сильнее, лопнет со звоном.

Снаружи на нём тончайший слой пыли.

Лёгкими движениями рисую на пыли кладбище. Вот холмики могил, оградки, памятники, даже цветы на могилах нарисовал, легко, схематично, но изобразил.

Нет, я не думаю, что меня можно заметить изнутри. А вот мой рисунок на стекле вполне возможно. По крайней мере, одна из девочек, не участвовавшая в представлении, посмотрела в сторону окна и внезапно прекратила смеяться. Нет, она не видела меня, я к тому времени уже отступил в темноту. Похоже, она увидела рисунок, или, может, даже не увидела, а уловила некие тревожные линии. Перестала смеяться, замерла и принялась вглядываться. То ли в рисунок на стекле, то ли в темноту за ним. Бедный маленький человек, смотри, всего лишь отключили электричество, а из темноты уже проступили какие-то первобытные знаки и ужасы.

Живой огонь в доме вместо бездушного яркого электричества взбодрил. Все органы чувств обострились, а возможно, открылись новые. Да, девочка! В темноте ещё не то бывает.

Окно разделено рамой на три части. На втором стекле я, дождавшись, когда напуганный ребёнок снова вернётся к представлению и забудет об увиденном, стараясь, чтобы не царапнули отросшие ногти, рисую огонь — самую живую и быстротекущую из стихий. Лёгкие движения — и вот пламя уже окутало вторую треть окна, всполошило рванью, лохмами, вскипятило ровную гладь стекла.

Ребёнок повернулся, увидел нарисованный на тонком слое пыли огонь. Он понял, что видит, иначе страх не проявился бы в каждой черте его тонкого фарфорово-хрупкого лица.

Я стоял в темноте и наблюдал за этим большеглазым напуганным существом.

Вот она трогает женщину за руку, указывает на окно, но та лишь качает головой, давая понять, что ничего не видит. Но там много больше, чем ничего. Просто, девочка, ты видишь больше, дальше и острее, чем взрослые. Потом это пройдет, но пока этот дар с тобой, и ты смотришь, видишь, запоминаешь.

С последней трети окна я быстрыми движениями стираю слой пыли и оставляю стекло чистым.

Темноглазая девочка поворачивается. Видит чистое до полной прозрачности стекло. Сначала она, похоже, подумала, что ничего и не произошло. Но затем осознала, что верхняя треть окна настолько прозрачна, что стекла словно бы и нет. Или его и вправду нет, и теперь в дом может войти то, что до этого только рисовало на пыли?

Девочка бьёт по руке матери, показывает на окно. Мать смотрит встревоженно, но ничего не видит. Она встаёт, прибавляет огня в «летучей мыши», я отступаю дальше в темноту. Мать ничего не видит. Девочка плачет. Подходят дети, что разыгрывали представление, но и они ничего не замечают.

Представление окончено. Все успокаивают большеглазую девочку. Я стою в глубине зарослей черёмухи, что растёт неподалёку. Я кидаю чёрные упругие ягоды в стекло. Они бьются с лёгким стуком. Взрослые и дети поворачиваются, но думают, что это ударяются в стекло ночные насекомые. Но это не они. Это я.

## *Певчая птица*

Уткины уезжали в отпуск. За три дня до отъезда позвонили мне.

— Ингвар, спасай.

Вообще-то, я Игорь, но звучание экзотического «Ингвар» мне так нравится, что я не возражаю.

— Чего ещё стряслось?

— Не с кем птицу оставить, — сказала мне Уткина.

— Возьмите с собой.

— Ты с ума сошёл? У него клетка размером с Букингемский дворец.

— Купите поменьше, с Виндзорский.

— Нет, я серьёзно.

— Я тоже серьёзен, как висельник.

— Ну, юмор-то у тебя точно как у висельника, — сказала Уткина, мрачней.

— Что, кроме меня, никто во всей огромной Вселенной не может прийти позаботиться о вашей птице?

— Никто. Мама в деревне, Корниловы в Турцию уехали...

— Ладно, я понял. Вы надолго сваливаете?

— На две недели. Но там раза три всего и надо будет прийти.

Я вздохнул, пожал плечами, пусть Уткина этого даже и не видела.

— Хорошо.

Клетка и в самом деле оказалась огромной. С меня в высоту, да и по остальным параметрам тоже смотрелась весьма могуче.

— Тут ещё такое дело... — замаялась Уткина. — Надо будет цветы поливать.

Цветов было много.

— А... — махнул я рукой. — Сгорел сарай, гори и хата.



Я стоял и смотрел на маленького, в полтора спичечных коробка, кенара.

— Это же кенар?

— Девочки выглядят совсем по-другому.

— Поёт?

— Нет. Уже три года у нас живёт, ни разу не слышала, чтобы пел.

— Странно.

— Да. Я по всем птичьим форумам лазила, чего только не перепробовала, не поёт.

— Я слышал, с ними нужно разговаривать, тогда будут петь.

— Мы разговариваем. И я, и муж, и дети. Бесполезно.

— Может, он немой?

— Может.

Уткина отдала мне ключи, показала, где хранится корм для птицы, как отсоединяется поилка, где стоит лейка, из которой надлежит поливать цветы.

Я пришёл через три дня после их отъезда. Встал, положив руки на клетку, долго смотрел на жёлто-чёрную, с несоразмерно огромными когтями птицу.

— Что ж мы не говорим, братец? — спросил я.

Кенар смотрел на меня чёрным, как маковое зерно, глазом и молчал.

— Слово — серебро, молчание — золото.

Кенар перебрался с жёрдочки на жёрдочку и молчал, словно признавая справедливость моих слов.

Он мне нравился, этот пёстрый комочек жизни, весёлый и беззаботный, как клочок тополиного пуха, который ветер несёт по земле.

На следующий день я пришёл, и в моём рюкзаке лежали два газовых баллончика.

— Понимаешь, дружище, от хорошей жизни не поют. Я это точно знаю, — говорил я ему, прикручивая на баллоны насадки с пьезозажигалками. — Я, если ты не знал — а откуда бы тебе знать? — пою и сочиняю песни. Хорошие ли, плохие, пусть другие судят. Но я-то знаю, что хорошие. Такие, каким равных, может, и нет на современной сцене.

Я нажал на курок баллончика, из носика вырвалось гудящее синее пламя. Я покрутил вентиль, выбирая размер огненного языка. Зажёг второй факел, повторил процедуру. Птица следила за мной с искрой интереса в зёрнышках глаз.

— У меня было прекрасное детство, но это не значит, что там нечему ужаснуться.

Я оглядел домик кенара. Белые крашеные досточки по углам, крыша двускатная. Прямо под углом крыши выжжены изображения двух птичек, похожих на задумчиво замершего на жёрдочке кенара.

— Там было много интересного. Однажды я чуть не сгорел. Меня, младенца, в одеяле вынесли из горящего барака. Потом я имел несчастье утонуть. Почти утонул. Нахлебался воды, лёг на дно без сознания. Спасибо добрым людям, спасли, откачали. Потом, позже, мы с матерью едва не отравились угарным газом, чуть не угорели, если по-простому. Мама слишком рано задвинула вьюшку. Дрова и уголь ещё не прогорели, стали выделять угарный газ. Мать случайно проснулась, инстинкт крестьянский сработал. Вышла на улицу, меня вывела. А так в деревнях ещё лет пятьдесят назад одна из самых распространённых смертей была смерть от угара.

Я посмотрел на птицу. Нет, она, вернее, он, мне положительно нравился. Такое красивое сочетание цветов.

— Знаешь, мне отчего-то нравится запах жжёных перьев. Ещё с детства... Бабушка палила кур над газом, запах на всю избу. Он какой-то очень насыщенный, этот запах.

Я, будто ковбой, изготовившийся к стрельбе, зажёт сначала одну горелку, потом другую.

— Насыщенный... Я помню тушки этих куриц.

Я поднёс горелку к решётке, за которой притаилась птица. Стальная проволока раскалилась и засияла красным.

— Они были какие-то очень голые, раздутые. Такие, знаешь, наполненные жаром, соком и калориями. Такое огромное самомнение. Мне кажется, так должно выглядеть самомнение. Раздутые. Распираемые внутренними соками, которые, на самом деле, всего лишь наша пища.

Я водил горелками по прутьям решёток. Вверх-вниз, вправо-влево, и прутья раскалялись, словно я красил их киноварью.

Птица металась по клетке, стучаясь о прутья и потолок.

— Да... С тех пор я люблю запах жжёного пера. Ты видел, как горят перья? Хотя... Глупый вопрос. Так вот, пёрышки, яркие, невзрачные — любые, — сворачиваются коричневыми комочками, насаженными на ость пера. Если потом пропустить стержень пера меж пальцев, комочки осыпаются с сухим хрустящим звуком.

Путья раскалялись, полыхали багровым, напоминая решётку, возле которой жарится мясо в шаурмяшной.

Пёрышки от мечущейся птицы летели во все стороны, сгорая в хищном пламени газовых горелок, распространяя так любимый мной запах.

Зёрнышки глаз кенара оставались всё так же бессмысленно блестящи и красивы.

— Я слышал, для того, чтобы кенар пел, с ним надо разговаривать. Уткина сказала, что они много с тобой говорили, но ты не захотел им отвечать. Знаешь, я, возможно, даже понимаю тебя. Всё дело в темпераменте, да? Просто ты интроверт, и песнопения на людях для тебя неорганичны. Так? Я интроверт, ты интроверт, мы всегда сможем понять друг друга. Но это при условии, что ты действительно интроверт, а не какая-то самолюбивая, самоуглублённая тварь, игнорирующая окружающих и своё предназначение.

Птица выкрикнула что-то диким голосом, звук которого, наверное, мог бы довести до инфаркта его мать. Впрочем, я не уверен, что у канареек так развиты материнские инстинкты. Но я творческая натура, люблю перехлёсты.

— Однажды в детстве меня били трое, и я думал, убьют. Не убили. Даже одежду порвали не так уж сильно. Матушке сказал, что с ребятами в «конный бой» играли. Конный бой как раз такая игра, когда карманы отрываются, воротники трещат, даже рукава отрывались. А уж о синяках и ссадинах говорить не стоит. Весёлое было время...

Кенар забился в угол клетки и закрыл глаза.

— У меня отец умер, когда мне одиннадцать лет было. Мотоциклист сбил. Представляешь, шёл человек домой с работы, а тут навстречу пьяный инородец на мотоцикле. Насмерть. Ещё до приезда «скорой». Как я перенёс? Да никак. Сам не знаю как. Мать рыдала не переставая недели две. А я... Да ничего, собственно. Книжки читал. Телевизор смотрел. С мамой сидел.

Я подул на раскалённые прутья. Сталь охотно потемнела под моим дыханием.

— Потом у нас ещё крыша у бабушкиного дома сгорела, когда мне лет двенадцать было. Сидим, знаешь, в доме, телевизор смотрим, и вдруг чувствуем лёгкий запах дыма. Смотрим в окна, а там белые клубы. И, знаешь, даже непонятно, что происходит. Бабушка подумала, что соседка горит, закричала: «Ой-ой, кума Верка горит!» А то не Верка, то мы горели. Вот так.

Мне нравилось, как наливается красным проволока решётки, как из серой и тусклой она превращается в карнавально-яркую, с лёгкими искрами, мечущимися по поверхности, как дрожит воздух возле раскалённых прутьев.

— Я не знаю, почему я стал писать песни. Может, нипочему, потому, что так положено, а может, потому, что сумма страданий в какой-то момент, достигнув критической массы, перевоплотила меня в нечто иное. Разве не может быть такого? Нет-нет, только так быть и может. Количество переходит в качество. Количество страданий переходит в качество музыки. Или текста. Ведь логично же?

За две недели баллоны с газом опустели. Уткины вернулись домой.

— Ты цветы вообще, что ли, не поливал? — завопила в трубку Уткина.

Я спокойно отношусь ко лжи. И своей, и чужой.

— Поливал, — соврал я уверенно.

— Гибискус половину листьев сбросил, остальные висят как тряпки. Смотреть страшно.

— Не знаю. Может, заболел чем.

— Ты точно его поливал?

— Поливал, — честно сказал я, вспомнив, как один раз плюнул в горшок.

— Остальные цветы в порядке, только гибискус...

— Поливал, — снова твёрдо соврал я.

Через три дня Уткина позвонила снова.

— Что, гибискус приказал долго жить? — спросил я.

— Нет, гибискус в полном порядке. Дал за время нашего отсутствия четыре бутона. Один уже почти распустился.

Голос её был глух и задумчив.

— Кенар поёт...

— Прекрасно, поздравляю.

У меня и самого внутри что-то восторженно дрогнуло.

— Он не пел три года.

— Но вы же разговаривали с ним.

— Да.

— Вот. Количество перешло в качество.

— Похоже, — голос звучал неуверенно. — Там ещё на решётке какие-то разводы.

Я по образованию инженер-металлург и знаю, что эти разводы называются «цветами побежалости», и возникают они, как правило, именно из-за термообработки.

— А, вот ты о чём... Мне показалось, что клетка, прутья, грязные, и я их помыл.

Взял какое-то чистящее средство и помыл. Наверное, оно дало такую реакцию.

— Оказалось, он очень красиво поёт.

— Кенар?

— Да. Только, бывает, начинает петь часа в четыре утра. Или в пять.

Я промолчал.

— Он у вас очень красивый, — сказал я. — Я с ним тоже разговаривал.

Я вспомнил, как жёт над раковиной газовой горелкой выпавшие из крошечного тельца кенара перья. Они хорошо пахли. Как тогда, в детстве, в деревне.

---

*Пётр Воротынец*

## Пост в запрещённой соцсети

*Рассказы*

### *Пудель*

Года в три Добрыня прозвал его Фуфланиш. Буквы «ф» и «ш» отлично ему удавались. В отличие от остренькой «р». Но с буквой «р» почти у всех детей так. Сестрёнка Саша называла пуделя загадочным именем Музюнчик, в этой кличке слышался изюм. Саша в детстве поглощала изюм без остановки. Прямо забрасывала горстями и проглатывала, почти не жуя. А мама, когда случалось плохое настроение, мяла пуделя и мутузила, после чего вся семья стала величать его Мутузиком. На том и остановились. Мутузик. Чёрный пуделёк с завитушками дешёвой китайской синтетики. Добрыня говорил, что завитушки эти похожи на крошечные макарошки. По правде сказать, игрушка напоминала настоящего пуделя весьма отдалённо.

Помню, в Турции потеряли Мутузика. Персонал отеля пришёл на помощь, глядя на горе Добрыни. Особенно усердствовал в поисках здоровенный турок с ресепшна. Пуделя нашли на кухне ресторана. Как он туда попал? До сих пор гадаю.

В последний день в Турции у Добрыни заболело ухо. В самолёте из-за перепадов давления боль сверлила мозг. Пуделя он прикладывал к уху, утверждал, что становится легче, что игрушка волшебная и лечит. Впоследствии, когда Добрыня болел, родители клали ему в кровать Мутузика. Иногда, уходя в школу, Добрыня оставлял пуделя на коврике у входной двери. Чтобы тот сторожил дом.

Добрыня наш был хиленький, не богатырь. Контраст между именем и телосложением многие подмечали. Но Добрыня соответствовал своему имени иначе: он был добрый. Умел пожалеть, иногда до смешного. По пути на дачу к дедушке и бабушке мы проезжали дачный участок без дома. Участок был ухоженный, только дом отсутствовал. На шести сотках без устали трудился мужчина пенсионного возраста: поливал грядки, подрезал растения, ранней осенью жёг листву, отчего в машину проникал дурманящий, убаюкивающий запах. Добрыня всё переживал:

---

*Пётр Воротынец* — писатель, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и теории театра и кино историко-филологического факультета РГГУ. Автор книг «Чешский смех» («Геликон Плюс», 2018), «Джорджо Стрелер. Музыкальность как принцип режиссуры» (Lap Lambert Academic Publishing, 2012), «На сцене: история театра» («Пешком в историю», 2020). Лауреат премии журнала «Дружба народов». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 4.

как это получается — земля есть, а дома нет? Папа объяснял, что, наверное, денег не хватает и человек копит на дом. И однажды на участке действительно появились кирпичи. Добрыня обрадовался, что дядя теперь построит дом, как кум Тыква. Но дом кум Тыква так и не воздвиг. Через год на деревянном заборе, отделявшем участок от мира, появилась табличка «Продаётся». Я всё подшучивала над братом, мол, какое ему дело до пенсионера с грядками. А теперь сама про кума Тыкву думаю: про то, что всё в жизни заканчивается бесстрастной табличкой «Продаётся».

Затем на дачу вовсе перестали ездить. Папа разругался с тещей и тестем, моими бабушкой и дедушкой. Это в 2014 году произошло, на майских. Поливая шашлычок кисловатым ткемали — хотя кислое ему врачи запрещали, — дедушка со вкусом рассуждал, что мы наконец-то встали с колен. А папа не смолчал: «И оказались на лопатках». Мне тогда до всей этой истории с Украиной дела не было, у нас с Олегом начиналось. Любовь-морковь.

Конечно, политика была лишь предлогом. Не любили бабушка и дедушка нашего папу никогда. Это было взаимно. Тем же вечером уехали в Москву. Папа выпил за обедом, но всё равно сел за руль, так хотелось вырваться с дачи. Мама всю дорогу переживала, что гаишники нас тормознут и отберут права.

Я не знаю, как примирить детские воспоминания о дедушке и его проснувшийся милитаризм. Ведь этот человек покупал мне мороженое на ВДНХ, возводил со мной шалаш на той самой даче, играл в футбол с Добрыней сдувающимся мячом.

Не так давно дедушка умер. Бабушка жива. Она очень плоха, мама к ней ездит почти каждый день. Но давайте о Добрыне.

Добрыня придумывал сказки и вечно приставал: «Ну послушай, послушай». Фабулу он излагал путано, писклявым голосом. Я редко его сказки дослушивала до конца, предпочитая на середине слиться. Но одна мне запомнилась. Про то, как маленький мальчик проникает в чужие сны. К кому угодно попадает в сон, кроме короля. Сон короля охраняет верная гвардия в доспехах. Что там дальше происходило, уже забылось. Где-то у мамы в компьютере хранится видео, как Добрыня пересказывает сюжет. Кажется, в финале, благодаря смекалке, мальчик всё же добирался до сновидения короля, узнавал, что тот злой, и делился открытием с народом.

Ещё Добрыня учился играть на фортепиано. Освоил «Клоунов» Кабалевского и очень эффектно отыгрывал прыгающие от мажора к минору аккорды. Говорил, что у него пузырьки поднимаются от живота к горлу. Так он описывал вдохновение. И на барабанах любил постучать. Ходил, как помню, по четвергам в студию. Изю всех своих отнюдь не богатырских сил бил по тарелкам, напоминающим расплюснутые шляпы. Даже «Sonne» Rammstein умел дубасить: педагог был фанатом немецкой группы.

Знаете, когда Добрыня рыдал сильнее всего? Вот это правда тяжело вспоминать. У него выпал зуб вечером, и родители спрятали зуб под подушку, всё как полагается. Но забегались и про Зубную фею забыли. Не пришла она к Добрыне. Он утром так расстроился, что мама разрешила пропустить школу. Родители до сих пор себя за этот косяк корят. Как он плакал... Я сама не выдержала. «Зубная фея меня не любит, не любит, не хочет приходить», — стонал Добрыня. После истерики заснул, и мама положила рядом пуделя.

Ещё однажды Добрыня страшно расстроился, когда спектакль школьный пропустил. Мама ему цилиндр купила, как у фокусника, плащ и волшебную палочку. Но прямо перед выступлением Добрыня заболел. Жар был такой, что всё тело зудело. Но страдал он не от температуры, мне кажется, а из-за пропуска спектакля.

И когда до тридцати девяти поднялась температура, он жалобно причитал, как же ребята справятся без него.

На февральскую годовщину папа неизменно приносил к школе пуделя. Родители Анны-Марии тоже с плюшевой игрушкой приходили. А в этом году вот что случилось. Охранник вышел, с лентой такой — папа очень артистично это показывает, — и заявил, что начальство запретило мемориалы устраивать. Папа с ним спорил, но в итоге плюнул, забрал пуделя и вернулся домой, предварительно купив бутылку коньяка. Он в тот день жутко напился, первый раз таким видела. Мама его всё переворачивала на бок, чтобы в блевотине не захлебнулся. Понять папу я могу. Если что, папа разрешил мне про это написать, он не стыдится. Чудовищная несправедливость. Такое ранит. Папа заметно постарел в последние полтора-два года, мама держится бодрячком.

Вечером накануне Добрыня заснул быстро. Мама ещё в шутку бросила, спит как убитый. Знаете, ретроспективно каждая фраза предстаёт пророческой. Утром собрался в школу легко, без привычной рассеянности. Выспался. Я его провожала. День был жутко холодный, из тех дней, когда выходишь на лестничную площадку и уже там пахнет холодом. У холода ведь тоже есть запах. А за окном поднимается ядовитый рассвет, рыжий, но не греющий. В такой день, чтобы преодолеть порог квартиры, нужно быть сверхчеловеком. Но Добрыня вышел с радостью, почти бежал в школу. Я думаю, он был немного влюблён в Анну-Марию. Её все называли Аня-Маша. Родители девочки (очень милые люди, но мы почти не общаемся, тяжело) рассказывали, что она, наоборот, в тот день в школу не хотела. Прикидывалась больной. Может, и правда инфекция разгоралась.

На Добрыне была куртка болотного цвета. На куртку падал снег, отчего Добрыня походил на ёлочку в лесу. Мы эту куртку из раздевалки так и не забрали. Где она сейчас? Короче, обычный будний день. Я, как Добрыню отвела, в институт поехала, а вечером собиралась к Олегу. Ну а дальше мои друзья и подписчики знают, я писала об этом неоднократно, в деталях, прикладывала материалы дела. Повторять и повторяться не буду.

Совсем недавно учительница, которая вела тот урок (Виолетта Павловна, привет Вам) поделилась: когда полиция забирала старшеклассника (не будем называть его имени, в комментариях прошу также воздержаться, иначе сразу бан), он плакал. Говорил, что просто хотел проверить, сможет ли убить человека. Смог двоих, Добрыню и Аню-Машу. Остальных ранил. Из-за того, что у Ани-Маши удвоенное имя, есть ощущение, что убил старшеклассник троих. Недавно слухи были, что хочет как зэк через СВО освободиться. Мы сделаем всё, чтобы этого не произошло.

Добрыня ушёл мгновенно, Аня-Маша в больнице. Этот старшеклассник (человеком не поворачивается язык назвать) ходил в тир. Следовательно нам сказал, что стрелком он был посредственным, иначе жертв было бы гораздо больше.

До последнего, как говорит Виолетта Павловна, Добрыня думал, что это игра, розыгрыш. Может, и хорошо, что так? Не страшно ему было.

Кем был бы сейчас Добрыня? Где бы учился? Сбежал бы от мобилизации или остался в России? Праздные рассуждения, но и не прокручивать их в голове невозможно. Был человек и нет. Отобрали жизнь, как гопники мобильный телефон в подворотне. Раз — и всё. Нет моего брата. Как с этим примириться? Честно скажу, никак. Нет рецептов. Кто говорит, что есть, врёт. И себе, и окружающим.

Сегодня Добрыне восемнадцать лет. День рождения у Добрыни прямо посреди лета, а не стало его зимой. Я почему-то часто об этом думаю. Лето и зима, жара и холод,

лёд и пламя. Ладно, далеко меня занесло, слишком много букв. Короче, накидайте поздравлений юноше. С днём рождения, братишка!

Не могу не написать. У Добрыни появился племянник. Многие считали, что мы с Олегом чайлдфри (не буду скрывать, задевало), а у нас не получалось. Мы тщательно скрывали беременность, ничего не постили в соцсетях. Из суеверия. Назвали Добрыней. Как иначе?

В эти дни у нас гостят родители с Сашей. Прилетели на каникулы. Саша уже подросток, дерзит всем, ТикТок завела. Выкладывает танцы и школьную жизнь.

Мелкому Добрынюшке родители подарили пуделя. Я долго не решалась принять подарок. Но и как не принять, с другой стороны?

Вечером мы обязательно отпразднуем день рождения Добрыни-старшего. Когда все вернутся. Олег с работы, а родители и Саша с экскурсии. Все вернутся... Какой оборот. Нет, все уже никогда не вернется.

*Пост Lilia Rudakova. Тбилиси. 14 июля 2023 года*

## *Экскурсия*

Мороженое она не лизала, а откусывала, жадно, с остервенением вгрызаясь в студёный шар. На автомате поглощала и плакала: слёзы приземлялись прямо на салатный купол фисташкового мороженого.

Я подошёл к ней и по-английски спросил, всё ли в порядке (everything is ok?). Она, продолжая плакать и поглощать фисташковый холод, меланхолично произнесла:

— Говорите по-русски.

— У меня на лице написано, что я из России? — удивился я.

— В общем, да. Я экскурсоводом работаю десять лет. Русских сразу вижу. —

Она промокнула влагу на щеках салфеткой.

Салфетку ей, видимо, выдали вместе с мороженым.

— И как же вы русских распознаёте?

— У них всегда немного растерянный, немного испуганный и немного раздражённый вид.

— Понятно. — Хотя я ничего не понимал. — А где это я, не подскажете? Раз вы экскурсовод, — приступил я к немудрёному флирту.

— Первый раз в Праге?

— Первый день даже.

Утром я прилетел на бизнес-форум, потом пять часов отсидел на скучнейшем семинаре, который в профессиональном плане мне ничего не прибавил. К вечеру освободилось время пошатаваться по центру. Я взял такси от гостиницы, где проходил форум, и попросил отвезти в самый центр. Водитель высадил у Староместской площади. Было без пяти шесть, и у Пражских курантов уже расположились туристы, ожидающие шествия фигурок. Перед часами толпились в том числе наши соотечественники. Откуда-то сзади маршировала немецкая речь. Мне сразу вспомнились всякие фильмы про зверства нацистов, хотя люди восхищались красотами чешской столицы. Я учил немецкий в школе и частично понимал, о чём они толкуют.

---

*Мехти Сафаров*

## Никто не умрёт

*Страницы из романа*

Ему снилось, что он идёт горной тропой в далёком родном лесу, вдоль переплетающихся ветвями железных деревьев. Их кроны настолько плотны, что вокруг царит полумрак, лишь слабые лучи иногда пробиваются сквозь гущу листвы. Он идёт очень долго и вдруг понимает, что повернул не на ту тропу и заблудился. Его охватывает страх, что он никогда не выберется отсюда, он близок к отчаянию и плачет, когда неожиданно замечает стоящего перед ним на тропе деда, учившего его охотиться. В правой руке дед держит дагис, которой в их краю прорубают дорогу в густых лесных зарослях. Дед приседает перед ним и гладит по голове, успокаивая ласковыми словами и вытирая слёзы, притягивает к себе и целует в щёку, продолжая что-то говорить. Он видит обвязанную платком вокруг лба голову деда и характерный прищур его карих глаз на запоминающемся лице с бороздами глубоких шрамов от когтей леопарда, проступающих сквозь седую бороду. Дед треплет его по плечу...

— Старшина, вставай, комбат вызывает, срочно.

Он проснулся, увидел перед собой тормошившего его сержанта из своего санитарного взвода и скинул плащ-палатку, которой укрылся на ночь.

— А что случилось?

— Не знаю, иди, он ждёт.

Командир медсанбата, майор Гегечкори, встал ему навстречу из-за стола, за которым сидел с капитаном-разведчиком, облачённым в лесной камуфляж, и с характерным грузинским акцентом, как всегда, пробасил:

— Для разведчиков нашей пластунской дивизии война не закончилась, и для тебя, старшина, тоже. Вот, понимаешь, не могут наши разведчики без тебя — уже в который раз просят помочь, Пириев. Капитана Морозова — командира отдельной разведывательной сотни нашей дивизии — ты знаешь. Поступаешь в его распоряжение и откомандировываешься для выполнения специального задания. Знаю, что и на этот раз не подведёшь.

---

*Мехти Сафаров* родился в Баку в 1962 году, окончил арабское отделение факультета востоковедения ЛГУ. Служил военным переводчиком в Южном Йемене, работал в Академии наук Азербайджана, в системе МИД Азербайджана, окончил дипломатические курсы университета города Лидса (Великобритания). Преподаёт английский и русский языки, занимается переводами. Публикуемый фрагмент взят из неизданного романа «Река жизни». Живёт в Варшаве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.



Среднего роста, шуплый Морозов сказал, слегка запинаясь, но быстро и уверенно: — Сейчас пойдём с тобой через лес до деревни Боровничка. Времени нет, по дороге расскажу. Ты, старшина, наверное, знаешь, что отдельные группы немцев, так и не сложив оружия, пытаются уйти на запад, чтобы сдать союзникам. Вчера мои ребята по наводке местных жителей выследили в лесу группу предателей из девяти человек в немецкой форме. Сдаваться они отказались, завязалась перестрелка — у нас двое раненых, у них двое убитых, пятерых мы взяли живыми и отправили под конвоем в штаб, а двоим удалось оторваться. Пленные показали, что один из двух — их командир-фельдфебель, зовут Искендер, вроде как бывший морской пехотинец Черноморского флота. Ребята их преследовали и настигли на окраине села. Те, когда поняли, что обнаружены, забежали в один из домов и целую семью взяли в заложники: мать с двумя детьми и бабу. Мои ребята дом окружили, а они, понятное дело, требуют дать им уйти на запад. Ситуация очень трудная. Мирные жители не должны пострадать, да и своих ребят я терять не хочу, тем более сейчас, после победы, а приказ командования: ни один предатель не должен уйти. Так что нужно убедить их сдать по-хорошему. Вот ты, старшина, нам и поможешь. Опережаю твой вопрос — почему ты. Ну, во-первых, ты уже помогал, когда нам медик требовался, а во-вторых — и это самое главное — это группа легионеров из азербайджанского батальона кавказского полка «Бергман» — слышал про такой? — «Горец» в переводе на русский. — Капитан сделал паузу и достал из кармана камуфляжного комбинезона портсигар с дарственной надписью. — Куришь?

— А? Нет, спасибо, не курю. Не слышал про них...

Зеки ещё продолжал осмысливать услышанное, когда капитан, прикурив от самодельной зажигалки-гильзы, продолжил:

— Есть у меня разведчик, твой земляк, сержант Оруджев — геройский парень, шесть «языков» лично захватил, двух огромных, как кони, эсэсовцев их же ножом завалил, а ещё, что в такой ситуации очень важно, язык у него подвешен, любого уболтает, — да только сейчас он в госпитале. Вот мы и решили подыскать другого азербайджанца — ну, чтобы по-свойски, как земляк с земляком, на родном языке поговорил. В таком деле эти тонкости помогают.

Они шли лесной тропой около получаса. Чешский лес хотя и был другим, непохожим, но всё-таки напоминал ему родные места буйными красками майской зелени, густыми кронами деревьев и знакомыми запахами свежей листвы и травы. Зеки думал об удивительных превратностях своей судьбы. Два дня назад он вместе со всеми участвовал в торжественном построении по случаю капитуляции Германии и празднования окончания войны, а сегодня оказалось, что война для него не закончена и с ним ещё всякое может случиться. Что за три года на фронте он увидел и сам претерпел все страдания и муки, какие могут выпасть на долю человека: пробирался по поясу в сугробах и замерзал на горных перевалах во время наступления на Кавказе, спасал раненых, вынося их на себе с полей жестоких боёв, и сам корчился от нестерпимых болей после контузии, полученной в бою под Жешувом в Польше.

Тогда, сразу после взрыва, он потерял координацию и, оставаясь в полном сознании, не мог стоять на ногах. На его глазах умирал с развороченными осколками живого знакомого сержанта-грузина из команды по сбору трофейного оружия. Зеки пытался поползти до раненого, чтобы помочь, но у него ничего не получалось, и парень умер.

А ещё раньше, однажды после боя, он услышал стоны раненого на ничейной полосе и пополз к нему. Это был совсем молодой парень, подвозивший боеприпасы

к позициям артиллерийского полка. Парень весь обгорел после подрыва своей машины и испытывал страшные муки. Зеки, уложив на плащ-палатку, ползком тянул его за собой. Водитель страшно кричал, по-украински звал маму и затих, умерев на руках у Зеки, когда они уже были в своей траншее.

Эти двое были единственными его ранеными, которых он не сумел спасти, и оба раза он не смог сдержать слёзы — два раза за всю войну, если не считать того случая, когда он плакал, узнав, что крыша его дома обвалилась и жена с детьми спят под открытым небом.

Однажды довелось убить врага. Тогда ему, медику в составе разведгруппы, пришлось всадить свой «нож разведчика» в немецкого часового у моста, чтобы не быть обнаруженным. Он устал от войны. Ему казалось, что больше, чем смерти, он боится каждый день видеть искалеченных умирающих людей и кровавое месиво истерзанной человеческой плоти. Впервые за последние три года он нормально спал эти две ночи после окончания войны, и вот неожиданно снова нужно идти туда, где страх, кровь, а может, и смерть.

— Продумай, как их лучше уговорить. Начни с того, что война уже три дня как закончилась, зачем теперь умирать? Конечно, как предателей судить их будут по всей строгости закона, и мы им ничего обещать не можем, но сейчас все средства хороши. Скажи, что добровольная сдача в плен облегчит их участь, расстреливать их никто не будет, поработают на благо родины, честным трудом искупят вину и вернуться к своим семьям. Ну, что-нибудь в таком духе.

Капитан Морозов продолжал говорить, когда они вышли на опушку леса, откуда открывался вид на ряды аккуратных домов с двускатными черепичными крышами. Они поравнялись с крайним — Зеки разглядел перед ним в траве и за яблонями фигуры затаившихся разведчиков.

— Стрелять они первыми точно не будут, а наблюдают сейчас очень внимательно, так что можешь начинать переговоры, — сказал капитан, когда они спрятались за деревьями метрах в десяти от дома.

За стоящими на подоконниках цветами в горшках Зеки уловил движение — кто-то отдёрнул и тут же вернул на место занавеску. Он громко прокричал по-азербайджански:

— Земляки, послушайте, что я вам скажу. Сегодня одиннадцатое мая. Война закончилась. Никто уже не должен умирать. Отпустите заложников, сдайтесь добровольно — и останетесь живы, вас не расстреляют, а через какое-то время вы вернётесь живыми и здоровыми к своим детям.

В доме явно не ожидали услышать азербайджанскую речь. После минутной тишины из-за полуприкрытого окна раздался глухой голос:

— Ты кто такой?

— Старшина Пириев, Зеки Пириев.

— Ааа... Из политотдела, небось?

— Нет, я медик эвакуационного взвода медсанбата.

— Медик? А у нас тут раненых нет, зачем нам медик? Так что, Зеки, говорить нам не о чем. Я уже сказал твоему капитану: дайте нам уйти вместе с этими женщинами и детьми. Мы их отпустим, как только доберёмся до американцев, — слово мужчины. Если попробуете нас взять — подорвём и себя, и их гранатами. Передай это ещё раз капитану и иди в свой медсанбат раненых лечить.

«Наш говор, точно наш», — с волнением подумал Зеки и прокричал:

— Ты откуда?

---

*Мария Давыденко*

## Два рассказа

### *Соль*

Белый цвет вызывал у него панику. Он осмотрелся вокруг: всё было усеяно солью, шестилетний Казбулат никогда не видел столько белого. У него рябило в глазах от незаполненного пространства. У Казбулата сложилось впечатление, что всё до линии горизонта расчистили, своровали весь вид. Ещё Баскунчак навевал ему мысли о Северном Полюсе: было лето, но вокруг замело. Он лизнул окаменелый белый пляж. Ему хотелось почувствовать этот мир на вкус, как любому ещё мало разумному существу. Его двоюродные братья засмеялись. Раньше они никогда не брали его на озеро, как ни просил. Но сегодня он не меньше часа шёл поодаль от них до самого берега. Он стал достаточно сильным, чтобы добраться до озера самостоятельно. Он столько слышал о Баскунчаке, но до этого момента ему казалось, что его обманывали, оставляя дома одного. Солёное озеро словно было причиной его одиночества. Двоюродные братья уходили туда, отец возил на Баскунчак туристов на узике, пропадал целыми сутками, мать торговала там лечебной грязью, сёстры торговали сувенирами. Однажды отец уехал на озеро и не вернулся, вернее, Казбулат увидел его уже неживым. Ухабистая дорога не пощадила отца. С тех пор стало совсем голодно: мать продала главный источник дохода, служивший семье двадцать пять лет верой и правдой. Теперь на этой машине ездил хозяин кафе Индар. Иногда Казбулату хотелось радостно бежать навстречу машине, словно он видел старого друга, но затем он вспоминал, что у них с этим узиком нет больше ничего общего.

Лебедь опустился на соляной островок. Мальчики смотрели на него как замороженные. Птица пила воду. Сначала она удивилась странному вкусу, а потом соль всё усиливала и усиливала её жажду. Лебедь не мог остановиться.

— Вот же глупая птица! Умрёт же. Обманулась, — сказал Асланбек, старший из них.

— Как умрёт?! — воскликнул Казбулат.

— Так там содержание соли в три раза больше, чем в Мёртвом море.

---

*Давыденко Мария Юрьевна* — участница проекта АСПИР «Мастерские» — 2022. Родилась в 1988 году в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Окончила Волгоградский Государственный университет по специальности «журналистика». Работала в газете городского поселения «Калач-на-Дону». Печаталась в журналах «Новый мир», «Урал».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 9.

Казбулат побежал в воду. Он умел плавать, у них был широкий бак в огороде, но эта вода не принимала, выталкивала его наверх. Он не понимал, почему здесь плавается как-то не так. Он беспомощно барахтался в воде, не продвигаясь вперёд ни на метр. Когда Казбулат всё-таки добрался до птицы, она уже лежала без сил. Казбулат забрался на соляной остров и погладил лебедя. Птица смотрела на него каким-то всепонимающим взглядом. Ему показалось, что он не встречал никого мудрее. Это существо чувствовало, что скоро исчезнет, и словно благодарило за то, что он разделил с ним его последние минуты. В глазах птицы отразилась тайна бытия и тут же исчезла. Казбулат ощутил последний вздох лебедя. Птица лишалась своего минутного озарения.

Казбулат зарыдал на солёном острове. Братьям пришлось плыть за ним: он не мог сдвинуться с места. Как такое красивое создание может взять и исчезнуть, недоумевал Казбулат. Даже смерть отца не произвела на него такого впечатления, как смерть обманувшегося лебедя. Отец всегда понимал, что он делает, а лебедь был словно глупый ребёнок. Отец бывал с ним суровым, а лебедь нет. Так Казбулат соприкоснулся со смертью. С тех пор он никогда не купался в Баскунчаке, хотя уже через пару недель его отправили на побережье торговать лечебной грязью.

На главном туристическом пятачке вся стоянка была занята уазиками, будто здесь была точка их продажи. Под поржавевшей табличкой «Баскунчак» в позе лотоса восседал лысый азиат с бородкой, напоминая статуэтку-безделушку, которую в любой момент можно выкинуть. А у его ног скучала немецкая овчарка, привязанная к столбу обычной верёвкой: собака являла собой ещё большее умиротворение, чем её безмятежный хозяин. Оранжевое выцветшее одеяние бродяги сливалось со стеной красно-кирпичной сувенирной лавки. Поэтому его голова будто отделялась от тела и жила собственной жизнью. Азиат настойчиво читал молитву, хотя никто не обращал на него внимания:

— Природа — это Бог, Будда — это Вселенная. Мы всё время ждём явления чудес, а они всё время рядом с нами. Разве не чудо то, как деревья очищают воздух? Разве не чудо, что океан очищает себя сам? Мы часто ставим Бога на скамью подсудимых, виним в том, что Он не замечает наших страданий, но земля, вода, воздух, космос — это Он. Мы сами причиняем Ему страдания, уничтожаем Его из года в год. У природы есть всё, что нам нужно, Бог кормит нас, а мы предъявляем Ему претензии. Мы ждём от Него явления чуда, хотя он уже создал медицину и лечебные растения. Он создал человека — это ли не чудо? Узрите же Его доброту! Пусть укрепится вера, пусть будут счастливы все существа, живущие в этой Вселенной, пусть все отступят от неистины и найдут истину!

Казбулат подошёл к своему уазу цвета мерцающего стекла, самому яркому на стоянке, и достал зубочистку, чтобы выковырять остатки куэрдака между резцов. Затем он поправил на голове тубетейку и застегнул чёрную рубашку с ветками конопли и тигром. На заезжего буддиста он смотрел с явным раздражением, он понимал, что того скоро избыют водители и весь рабочий день пойдёт насмарку.

— Шёл бы ты отсюда, брат! Бомжей у нас отродясь не было: у всех алкашей есть родственники, у которых они могут жить задарма. А заезжих бомжей вообще тут не примут. И ты распугаешь нам туристов. Вчера дождь был, голяк полный, ни единой души не отвёз на пляж, а ты и сегодня нам заработок портишь.

— Ты калмык?

— Казах.

- Всё с тобой ясно, досточтимый. Подай во имя Будды!
- Я — мусульманин.
- Все религии спасения предполагают подаяние.
- А ты уйдёшь отсюда, если я тебе отдам свою булку с маком?
- Никогда не знаешь, куда тебя приведёт Господь завтра.
- Это точно, старик. Жизнь — соль!
- Мне сорок два. Но душа моя состарилась, это да.

Вдали показался туристический автобус, а вслед за ним джип-гелендваген. Несколько водителей накинута на заезжего буддиста покрывало, словно хозяйка припрятала мусор, когда неожиданно нагрянули гости.

Туристы сразу отправились в летний душ переодеваться. Летний душ подразумевал нагревание воды от солнечных лучей и отсутствие сантехники. Из гелендвагена показалась стильная молодая пара. Она в обтягивающем боди и шортах цвета марганцовки, он — в длинных шортах-карго. Казбулат сразу понял, что они хорошо получатся на фото: симпатичные, молодые, с хорошими зубами.

— Какой классный цвет у машины! — восхитились парень и девушка. — Отвезёте нас на пляж?

— Так вы же вон на каком аппарате.

— Не хотим пачкать. И дорога там плохая, говорят. И ваша на фото хорошо смотреться будет. Мы свадебные фото хотим сделать, — объявила девушка.

— Молодожёны, значит? Поздравляю!

— Мы решили заранее сделать свадебные фотографии, чтобы потом больше наслаждаться праздником, — пояснила она.

— В Южной Корее всегда заранее делают свадебные фотографии, — сказал парень.

— Я дальше Астрахани не ездил. Ладно, садитесь! Две с половиной тысячи — это туда и обратно.

— Грабёж! — слышалось из-под покрывала.

Бродяга снова явил себя миру.

— Все так берут за езду до берега, — оправдался Казбулат.

— До первого пляжа идти минут десять, — объявил странник.

— Он давно высох, старик! Там одна соляная пустыня.

— Говорил же тебе, что мне сорок два, не называй меня стариком!

Девушка достала телефон и принялась фотографировать заезжего буддиста и его собаку.

— Не обращайтесь на него внимания! Это первый бомж в Нижнем Баскунчаке на моей памяти.

— Я увлекаюсь йогой. У меня есть варёный рис в контейнере.

Девушка тут же достала из сумки пластик.

— Спасибо, дитя! Тот, кто даёт тебе рис, даёт тебе саму жизнь. А с чем рис?

— С солью. Хотя тут соли на весь мир, конечно, хватит!

— Булке с маком он так не обрадовался, — возмутился Казбулат.

— Твоё подаяние было не от чистого сердца.

— Ты ещё кастинг проводишь, у кого принять, а у кого не принять подаяние?

— В благодарность за твой рис, девушка, ты можешь поделиться со мной своей проблемой, и я решу её.

— Так и решите?

— Так и решу.

— Алис, может, поедем уже? — напомнил о себе парень.

— Да подожди ты! Может, он действительно поможет. Я очень плаксива. Стоит кому-то повисить на меня голос, как слёзы льются рекой. Это такая защитная реакция, чтобы не переживать расстройство слишком долго. Но моим работодателям не слишком нравилось, когда они меня битый час ругали за отчёт 2-ТП воздух, я была инженером-экологом, и весь этот час я плакала. Проблемы вот такие с социализацией! И когда они вместо того, чтобы вывезти отходы на полигон, как указано в отчёте, отправили их на свалку, я тоже плакала. Пришлось уволиться и стать блогером. А я любила промышленную экологию. Но работа стрессовая. Я до сих пор плачу, как вспоминаю те отчёты по разделению мусора и их несоответствие действительности. У меня началась депрессия. Теперь я могу плакать и просто так часами. Могу Баскунчак новый наплакать.

Казбулат хмыкнул, и все посмотрели на него.

— Мне кажется, он знает ответ на твой вопрос, — объявил бродяга.

— Я?

Заезжий буддист утвердительно кивнул.

— Эм, а ты пробовала когда-нибудь копать? — поинтересовался Казбулат у девушки.

— Как это?

— Лопатой. Мой дед, когда его злила бабка, всегда шёл в огород и копал: то сажал картошку, то выкапывал картошку, то просто так грядки вскапывал. Даже в восемьдесят лет. Правда, его инсульт сразил после одного такого приступа копания, он до самой смерти не вставал с кровати, но депрессии у него не было. А вообще, жизнь — соль.

— То есть копать, когда мне хочется плакать? А если нет рядом лопаты и грядки?

— Всё равно быть ближе к земле, — произнёс заезжий буддист.

Парень гладил собаку, а девушка задумалась о том, как реализовать совет.

— Помогло тебе? — спросил он. — Копать — это хорошо. Нужно попробовать, зай.

Казбулат просмотрел сообщения в мессенджере.

— А это вы заказывали верблюда?

— Ага, — подтвердил парень.

— Дядя пишет, что Фёдор уже от скуки изгадил весь пляж, и что Фёдору нужно вовремя потом вернуться домой, следует поторопиться.

— А я о чём говорю! — возмутился парень. — Хорошая у вас собака, мужик!

— Девдас со мной всегда. Он понимает меня лучше людей.

— Мой Зевс у брата на время поездки остался. Зевс тоже немец, прекрасен.

— У тебя есть собака? — удивилась девушка.

— Есть. А что, это проблема?

— Но мы же собираемся жить вместе! А у меня кот. И я тебе говорила, как меня за ногу цапнула собака, когда я каталась на велосипеде. И как на меня чуть не напали бродячие псы в Индии. Меня даже просто собачий лай пугает и раздражает.

— Но Зевс — мой друг. Его я знаю куда дольше, чем тебя. Я с ним не расстанусь.

— Тогда ты расстанешься со мной. И о таком нужно предупреждать!

— Ты серьёзно?

В воздухе повисла пугающая тишина.

— Так вам ещё нужен верблюд? — поинтересовался Казбулат.

— Ладно, поехали покатаемся всё равно, — сказал несостоявшийся жених своей несостоявшейся невесте.

«Мне бы их проблемы, — подумал Казбулат. — Хотя, главное — чтобы моя ласточка летала. Без машины нет заработка. Всё остальное — ерунда. Жизнь-соль!»

*Евгений Степанов*

## Родные лица

### *В этом веке*

Видать, небеса осерчали,  
Коль я невезуч, бестолков.  
Я — сто килограммов печали  
И несколько граммов мозгов.

Я что-то всё время на взводе  
И лезу в житейский капкан.  
Болтают напрасно в народе,  
Что шибко везёт дуракам.

А лучше бы анахоретом  
Мне стать — и забиться в нору.  
Но что ж сокрушаться об этом,  
Ведь я в этом веке умру?!

### *Слова и слёзы*

Родные лица... Мало их.  
Об их безбедности молю.  
И нет на свете слов таких,  
Чтоб выразить любовь мою.

И нет на свете слёз таких,  
Чтоб выплакать беду мою  
О тех, кто навсегда затих,  
В неотменимом пав бою.

---

*Степанов Евгений Викторович* — поэт, прозаик, издатель, кинорежиссёр, автор полнометражных фильмов «Христос-Человечество» и «Основной вопрос». Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского пединститута, Университет христианского образования в Женеве и аспирантуру МГУ им. М.В.Ломоносова. Кандидат филологических наук. Автор книг стихов, прозы и многих публикаций в СМИ. Президент Союза писателей XXI века. Живёт в Москве.

### *Кусково: три века нашей семьи*

Это Кусково. Вдоль пляжа ходят родные мои.  
Это прабабушка Паша, матрица нашей семьи.

Это и папа, и мама — нежный целительный свет.  
Годы — сквозь пальцы, незнамо сколько безбашенных лет.

Это Георгий, Марина — братец старшой и сестра.  
Это китайка, калина, жимолость et cetera.

Это на подвиги спорый бедный племяшка Витёк.  
Это коза, от которой я побежал наутёк.

Это Кусково. Наташа. Счастье. Несчастье. Финал.  
Выпита горькая чаша горя, но я не упал.

Это Кусково. Аллеи, оранжерея и грот.  
Дочка Настюша. Теплее на сердце — множится род.

Это внучата... Сначала жизнь начинает разбег.  
Нет никакого финала. И продолжается век.

Новая эра. И боли волю я больше не дам,  
Став для загадочной Оли трепетным, точно Адам.

Это Кусково. Основа жизни моей, черед  
Разных столетий. Кусково — это живая вода.

### *Вечная Илиада*

Голосовать негоже сердцем  
За цель, в которой смерть видна.  
Опять троянцам и ахейцам  
Понятней, чем любовь — война.

Война не сгинет — ни героя,  
Ни хлюпика не пощадив.  
...Падёт растерзанная Троя,  
Но всё же выживет — как миф.

### *Летний день в посёлке Быково*

Сверчок-печальник, и розарий,  
И соловейко-златоуст...  
Я божья тварь средь божьих тварей.  
Родней считаю каждый куст.

И Фрост со мной, и Пруст на полке,  
И Блок, похожий на Христа.  
И эти сосны, эти ёлки...  
И облачная высь чиста.



### *Филиал лингвистического университета*

Опытный сиделец  
не скажет: «Спасибо...»  
Он скажет:  
«Благодарю...»

Опытный сиделец  
не скажет: «Пожалуйста...»  
Он скажет:  
«От души...»

Опытный сиделец  
не скажет:  
«...твою мать»,  
как говорят непуганные отморозки  
здесь, на воле.

В тюрьме за такие слова  
могут отрезать язык.

Тюрьма —  
это хороший лингвистический университет.  
Я учился в филиале этого университета —  
в молодости —  
в провинциальной психушке,  
где было в силу разных причин немало опытных сидельцев.

### *Он-и-Мы*

И — вновь о Нём, о Нём, распятом,  
И — вновь о Нём, о Нём, воскресшем  
Мы языками чешем, чешем.  
Но понимаем ли? Куда там!..

Но Он идёт среди бурь и хмарей.  
И нам становится собратом.  
...Искусство — это комментарий  
К библейским вечным постулатам.

## «Осенью 43-го присвоили звание младшего лейтенанта»

*«Я представитель убитого поколения», — сказал он о себе однажды.*

*Это было поколение родившихся в двадцать втором — двадцать третьем — двадцать четвёртом годах прошлого уже века: поколение школьников, ушедших после выпускного на войну. Считалось, что из них осталось в живых три процента. Теперь это стали относить к советской мифологии. Но что, к сожалению, неоспоримо: число жертв Великой Отечественной войны огромно и до сих пор точно не подсчитано, а те, кому посчастливилось выжить, вернулись израненными если не телом, то душой, и это были раны неизлечимые, на всю оставшуюся жизнь. Выбитое поколение, создавшее в послевоенные годы книги, фильмы, спектакли, ставшие классикой и гордостью многонационального отечественного искусства и признанные вершинами искусства мирового. И белорусский прозаик Василь Быков — одна из крупнейших его фигур.*

*Он ненавидел войну — и всю свою жизнь писал о войне.*

*Но «Дожить до рассвета», «Сотников», «Атака с ходу», «Мёртвым не больно», «Знак беды» — это были книги не только о прошлом. Быков подчёркивал: «Прежде всего и главным образом меня интересовали два нравственных момента, которые упрощённо можно определить так: что такое человек перед сокрушающей силой бесчеловечных обстоятельств? На что он способен, когда возможности отстоять свою жизнь исчерпаны им до конца и предотвратить смерть невозможно?» Он писал о нас тогдашних и нас сегодняшних. «От умения жить достойно очень многое зависит в наше сложное, тревожное время. В конечном счёте именно наукой жить достойно определяется сохранение жизни на Земле. Жить по совести нелегко. Но человек может быть человеком и род человеческий может выжить только при условии, что совесть людская окажется на высоте...» Он жил в своё время и, как и все, не был от него свободен. Но он понимал, как важно в любых условиях сохранить в себе человека. Он понимал, что правда о войне — «жестокая правда», но заставлял трудиться наши души. Это ценили в его книгах старшие современники («Всё минется, а правда останется», — написал ему когда-то Твардовский), перечитывая книги Быкова, понимаешь, как это важно сейчас.*

*С ним не всегда хотелось соглашаться. В последние годы всё чаще хотелось поспорить. Но как бы ни задевала категоричность его суждений, ты понимал: это не поза, не расхожие слова, а убеждения. И это всегда вызывало уважение.*

*Василь Быков умер 22 июня 2003 года.*

*Вот уж точно — от судьбы не уйдёшь, догнала война.*

*Ещё при жизни из его судьбы попытались сделать миф, из него самого — политический символ. Приверженцы иерархий определяли рейтинг: великий? выдающийся? знаменитый? всемирно известный белорусский? один из величайших прозаиков русской литературы XX века?.. Но всё это суета. Важно, что это настоящая литература и что книги Василя Быкова продолжают выходить и заставляют думать о том, как и зачем ты живёшь.*

Наталья ИГРУНОВА

*Василь Быков*

## Долгая дорога домой

*Отрывки из книги*

*С белорусского. Перевод Натальи Игровой*

\* \* \*

Погожим июньским утром мы приехали на Украину...

Белые мазанки, тополя, непривычная слуху речь на станции, гоголевские ассоциации переносят в другой мир, романтический и сказочный. Не думалось тогда, что столько драматичного и трагического будет связано для меня с этим краем.

Не успел оглядеться, как следует посмотреть город и даже отыскать дядьку, как разразилась война.

Признаться, молодых это сперва не очень и пугало, только ж недавно была финская война, перед тем — освободительный поход в Западную Белоруссию, всё завершалось триумфом побед. Победим и тут. Тем более если нами руководит непобедимый товарищ Сталин. Но понемногу сделалось тоскливо, а потом и страшновато. Хотелось домой, ближе к родным местам, да не было возможности. Когда немецкий вермахт захватил Минск и Гомель, подступил под Киев, нас мобилизовали через военкомат. Сначала на оборонные работы. Где-то с месяц копали длиннющий и глубокий противотанковый ров, кажется, под Пироговкой. Который затем оставили, потому что немцы уже замыкали своё окружение Киевского котла...

Тысячные колонны 17—18-летних парней потянулись по пыльным дорогам на восток. Стояла южная жара. В сёлах и городках, через которые мы проходили, нас провожали женщины и девчата, давали еду, фрукты, махали платками. Некоторые плакали. Мы держались раскованно, вели себя вольно, шутили. Нас, горстку белорусов, никто не оплакивал, наши плакальщицы остались далеко. Но и украинки нас жалели и любили. На окраине старинного Глухова чернокосяя украинка подбежала и поцеловала меня — это был первый волнующий девичий поцелуй в моей жизни. Ночевали обычно в коровниках, на гумне, в уже опустевших школах. Хлопцы-украинцы очень красиво пели. Как бы ни были утомлены за день, в сумраке летней звёздной ночи где-нибудь на краю села долго звучала самая любимая и знакомая «Розпрягайте, хлопці, коней, та й лягайте спочивать, а я піду в сад зелёний, в сад криниченьку копать». Как рассветёт — подъём и в дорогу, покуда не появятся в небе немецкие коршуны.

Питаемся чем где придётся. Чаще самопасом. Был хороший урожай яблок, овощей. Забегаем в придорожные магазины, в которых почти пусто. Всё расхватили до нас. В Белгороде я попробовал купить фруктового чаю, который можно было есть, но застрял в толпе возле прилавка. Из-за этого отстал от колонны, а потом и потерял её. Пока бегал по забитым войсками улицам, наступила ночь. Усталый, зашёл в полуразрушенный бомбой дом и заснул. Разбудил комендантский патруль. Отвели в комендатуру. Там ночной допрос — кто такой, почему отстал, с какой целью? Обыскали, отобрали документы. Нашли в моём чемоданчике карту, выданный из учебника листок, на котором я, грамотей, отмечал, как движется фронт. Тот листок

меня едва не погубил. Лейтенант в синей фуражке, допрашивавший меня, после первых же слов ударил в одно ухо, потом другой рукой — в другое: «Почему скрывался?» Я попробовал объяснить, что отстал от команды, что иду из Сумской области, а мой следователь на это отвечал: «Все так говорят, грубо работают ваши фашисты, по шаблону. Но мы выьем из тебя признания, японский городской!» Это необычное ругательство я тогда услышал впервые и запомнил на всю жизнь.

Правда, больше не били, а, ещё обругав, отвели в тесную камеру в подвале. Там было темно, чувствовалось присутствие людей, и я присел у входа. Но вскоре привели ещё кого-то, посветив фонариком, мне приказали пересечь дальше. Я прислонился плечами к стене и, кажется, задремал.

Ближе к утру проснулся. В камере немного посветлело. Тут сидели человек восемь, я разглядел моих соседей. Один лежал на боку, вытянув длинные ноги в высоко накрученных обмотках. У другого, что сидел рядом, на голове была фуражка со звёздочкой и козырьком, ещё один — в белой вышитой рубахе — лежал рядом со мной, заложив руки на спину. Я не сразу догадался, что они у него связаны, и непроизвольно потянулся развязать. Но человек дернулся и простонал: «Не трогай, застрелят». И я отвернулся.

Удивительно, но до полудня из камеры никого не выводили, а привели ещё троих. Все молчали, только один из приведённых начал плакать, и на него прищипнули: «Стихни! Разнюнился...» Все чего-то ждали и прислушивались, что происходит снаружи. А там, и правда, что-то происходило. Грохотали машины, слышались крики команд. В полдень началась бомбардировка города, весь подвал трясся, даже сыпалось с потолка. Где-то поблизости стреляли пулемёты, но зениток не было, как сдержанно отметил мой сосед в обмотках.

Под вечер несколько человек вывели, больше не привели никого. В камере стало свободней, но наверху тише не стало. Где-то, довольно близко, бухала артиллерия. Я снова задремал. А проснулся оттого, что дохнуло свежим воздухом, в дверях стояли солдаты в плащ-палатках. Сапогами они растолкали тех, кто был ближе, и приказали выйти. Вскоре в другом конце постройки раздались выстрелы. «Четыре», — со страхом произнёс кто-то в камере. Лицо моего соседа в вышитой рубахе стало совсем белым, будто обсыпанное мукой. Дверь потом начала часто открываться, похоже, принялись выводить всех по очереди. Где-то неподалёку раздалась стрельба, за которой мы услышали несколько близких выстрелов. В очередной раз пришли двое — молодой в синей фуражке и пожилой усатый красноармеец с винтовкой. Этот, усатый с винтовкой, кивнул мне — на выход, и я послушно поднялся. Не помню, как вышли из подвала. Через мощёный двор свернули за угол кирпичного здания на вытопанные огородные грядки. И там под старым деревянным забором я разглядел в крапиве длинные ноги в высоко накрученных обмотках. И я не сдержался — слёзы сами ручьём полились из глаз. А красноармеец застыл в изумлении от моего безмолвного плача, и вдруг говорит: «Пацан, беги! Быстро!» И я рванул через грядки с картошкой к близкому пролому в заборе, ожидая, что сейчас он в меня выстрелит. Он, и правда, выстрелил, но вверх, как я понял, убегая, хоть даже не оглянулся.

Я бежал и за забором, через какие-то огороды, перелез через какую-то проволочную ограду, обежал покосившийся хлев и остановился в заросшем чертополохом переулке. Хорошо, что солдат здесь не было. Только какая-то тётка с ведром высунулась из-за угла, я молча её обминул и наконец выбрался к железной дороге. Тут немного растерялся, не зная, куда податься — то ли направо, то ли налево? Пошёл налево, чтобы уйти от водокачки, высившейся поблизости над крышами. Вскоре мне повстречался дядька-железнодорожник, который со стальным чемоданчиком шёл куда-то или откуда-то. Я спросил, в какой стороне Харьков, и дядька, оглядев меня, молча махнул рукой — там. Я и пошёл по путям на запад. По дороге идти было нельзя, дороги были забиты отступавшими войсками, беженцами — пешими и на возах.

Я шпарил по чугунке, направляясь в Волчанск — городок под Харьковом, — где, как слышал раньше, формировали запасные части. Команда, от которой я отстал, отправлялась именно туда. А где был тот Волчанск? Правда ли, под Харьковом, как сказал железнодорожник? Больше спросить было не у кого. Да и боялся спрашивать.

Мне вообще тогда повезло. Когда я нашёл в стороне от дороги в лесу свою команду, та уже строилась для формирования. Я очень обрадовался, почувствовал себя почти счастливым. Но у меня не было ни одного документа, всё осталось в белгородской комендатуре. Хорошо, что командиры не слишком придирались — не было времени, да и хлопцы подтвердили: это наш. И я чуть ли не впервые почувствовал радость единения с коллективом, его счастливое преимущество перед придушенной жизнью одиночкой. Про свои драматические приключения в Белгороде долго никому не рассказывал, о документах потом писал, что утрачены во время войны. Без лишних подробностей.

Нас сформировали в новую команду, дали какое-то б/у обмундирование, но вместо оружия — лопаты. Сообщили, что с этого дня мы — в составе армейского инженерного батальона. Прибыло какое-то начальство, и нас снова повели копать траншеи на север от Харькова. Через несколько дней выдали винтовки — по одной на десять человек, и мы почувствовали себя бойцами непобедимой Красной Армии. Вскоре началась катавасия. Подошёл фронт, участились бомбёжки. Прорывы немецких групп, воздушные десанты, которые следовало отбивать, но чаще мы от них бежали. Однажды нас бросили на прикрытие кавалерийской контратаки. Там я впервые почувствовал весь ужас этой войны.

Ночью на краю кукурузного поля мы выкопали окопчики. Впереди — свекольное поле, за ним большое украинское село. Вчера мы шли через него. А следом шла кавалерия — много кавалерии. До сих пор вижу: запylённые, усталые кони и люди, кругом пыль, пыль... На Украине летом всегда пыль на дорогах. Кавалеристы, видно, ехали издалека, днём над ними висела немецкая авиация, всё время бомбила. Вся округа горит... А они вооружены так: винтовка за спиной, шашка, противогаз, перемётные сумы у седел... Почему-то запомнились конские противогазы. На седле сумка большая, и от неё идёт толстая гофрированная трубка, как кишка, и маска. Надевается коню при газовой атаке, каких, кстати, нигде на войне не было. На рассвете конники бросились на село в атаку, на немецкие танки. Немцы подпустили довольно близко и из пулемётов устроили им такое, что Боже мой! Через какие-нибудь десять минут все отхлынули назад. И вот бежит конь в пене, без седока, или седок свисает с седла вниз головой. Конь падает, бьётся, из его брюха вываливаются внутренности, да ещё кишка эта от противогаза тянется. Всё вокруг разорвано пулемётными очередями. Мы быстренько оттуда драпанули — все, пешие и конники, — в лесок, атака захлебнулась, и больше её не возобновляли. Танки пошли дальше.

Потом ещё было немало такого же, бессмысленного и глупого. Мы строили для маршала Будённого командный пункт, на котором Семён Михайлович едва не попал в плен. Отходили на Старый и Новый Оскол... Где-то осенью, кажется, в октябре, армию наконец вывели под Воронеж, она уже была небоеспособна, одни остатки.

\* \* \*

Осенью 43-го присвоили звание младшего лейтенанта. Погоны выдали золотые, на которые каждый из выпускников (Саратовского пехотного училища. — *Прим. пер.*) прикрепил по одной маленькой звёздочке. Получилось довольно красиво, пошли сфотографироваться. Но получить фото не успели — ночью всех подняли для отправки на станцию, где в тупике стояли пустые товарные вагоны. Правда, с железными печками, и то уже хорошо.

Ехать пришлось долго, места в вагонах обустроивали сами — таскали на станциях доски для нар. Продовольствие получили мукой, по одному килограмму на человека, из этой муки пекли на печках лепёшки, которыми и питались всю дорогу.

*Василь Быков*

## Знак беды

*Главы из повести*

*С белорусского. Перевод автора*

Время и люди не много оставили от некогда раскинувшейся здесь просторной хуторской усадьбы. Лишь кое-где останки её выглядывали на поверхность угловым камнем фундамента, осевшим бугром кирпича да двумя каменными ступеньками возле бывшего входа в сени. Припороженные эти камни покоились на том самом месте, что и много лет назад, и мелкие рыжие муравьи, где-то поблизости облюбовавшие себе жилище, деловито сновали по нижней, вросшей в землю ступеньке. Овражный ольшаник, потеснив хуторское поле, подступил вплотную к двору; на месте истопки царственно разросся густой куст шиповника в окружении зарослей лопухов, крапивы, малинника. От колодца ничего не осталось, сруб гнил, или, возможно, его разорили люди, вода, оказавшись без надобности, иссякла, ушла в глубь земли. На месте стоявшей здесь хаты тянулась из сорняков к свету колючая груша-дичка — может, непотребный отпрыск некогда росших здесь груш-спасовок, а может, случайная самосейка, занесённая из леса птицами.

С дороги, от большака мало что указывало на бывшую усадьбу, разве одна из двух лип, некогда красовавшихся возле хуторских ворот. Другой не было и в помине, да и оставшаяся являла собой жалкое зрелище: опалённая и однобокая, с толстым уродливым стволом, прогнившая корявою щелью-дуплом, она непонятно как удерживала несколько мощных сучьев. Прилетавшие из леса птицы почему-то никогда не садились на её ветвях, предпочитая рослый ольшаник поблизости. Вороны, возможно, помнили что-то, а может, своим древним инстинктом чуяли в изуродованном дереве дух несчастья, знак давней беды. Этот роковой знак лежал здесь на всём: на истлевших остатках усадьбы, блаженствующих на приволье в зарослях сорняков и малины, на самодовольной неприступности колючего шиповника и даже изогнутой груше-дичке. И только тоненькая молодая рябинка, недавно выбросившая на свет считанные листочки посередине заросшего травой подворья, в дерзкой своей беззащитности казалась гостьей из иного мира, воплощением надежды и другой, неведомой жизни.

Наверно, всё остальное принадлежало здесь прошлому, покорённому тленом и небытием.

Всё, кроме неподвластной времени всеохватной человеческой памяти, наделённой извечной способностью превращать прошлое в нынешнее, связывать настоящее с будущим...

## Глава первая

С терпеливой ненасытностью корова щипала влажную с ночи траву, неторопливо двигаясь исхоженным своим маршрутом: вдоль большака, по заросшей бурьяном канаве, краем дорожной насыпи, через травянистую ложину с гладким, будто откормленный кабан, валуном и дальше, к опушке леса, широкой дугой охватившей пригорок с хутором. Степанида знала, что на опушке корова повернёт в сторону Бараньего Лога и там, в ольшанике, надо будет смотреть за ней строже, чтобы не шмыгнула куда-нибудь долой с глаз. Бобовка была корова проворная и хотя пёстрая — белые пятна на чёрном, — но уж если куда запропаستится, то побегаешь по кустарникам. Однако это там, на опушке, тут же деваться ей было некуда — невысокая насыпь дороги да голое картофельное поле, тут можно и посидеть в покое. И Степанида, прислонясь бедром к округлому боку валуна, плотнее составила на земле босые ноги, изредка поглядывая на свою Бобовку.

Было не холодно, хотя и зябковато ногам в мокрой от росы траве, и ветрено. Небо сплошь устлало набрякшие дождём облака, солнце с утра не показывалось; серый неприютный простор наполнился неумолчным шорохом ветра в поле, невольно хотелось отвернуться от него, плотнее закутаться в ватник, не двигаться. Рядом на большаке, как всегда в эти дни, было пустынно и тихо, теперь тут мало ходили и никто уже не ездил. Если и появлялся редкий прохожий, то чаще с утра — какая-нибудь женщина из ближней деревни торопливо пробежит в местечко, обратно появится она только к вечеру. Эта устоявшаяся заброшенность дороги угнетала Степаниду, особенно после того, как недавно ещё всё тут ревело и стонало от машин, подвод, лошадей, бесчисленных колонн войск, денно и ночью тянувшихся на восток. Казалось, великому тому шествию не будет конца, а с ним не кончится и тревожная суета на хуторе. Известное дело, придорожная усадьба: какая надобность ни случись — у всех на глазах. Степанида с Петроком сбились с ног, встречая и провожая каждого, кто заезжал, забегал, останавливался, чтобы переобуться, напиться, передохнуть в зной под липами, покормить лошадей, перекусить самому, расспросить о дороге. Правда, однажды под вечер на большаке стало свободнее, движение заметно спало, готовое совсем прекратиться, машины уже не ехали, а строй красноармейцев, свернув с дороги, цепью рассыпался по картошке. Два командира, захватившие на хутор, что-то долго рассматривали на карте; их боец-коновод попросил ведро напоить лошадей и сказал, что тут будет бой, оставаться на хуторе опасно. Испугавшись, Степанида накинула верёвку на рога коровы и кустарниками подалась в Бараний Лог. На хуторе остался Петрок — усадьбу не годилось оставлять без присмотра. Натерпевшись немало страха, она просидела в березнячке ночь и половину следующего дня. После полудня загудели самолёты, тотчас содрогнулась земля, где-то забахало, застучало, и в небе за логом встал сизый столб дыма. Постепенно оправившись от испуга, Степанида поняла, что это далеко, на большаке, а может, и того дальше, в местечке. Вскоре, однако, всё стихло, будто и не начиналось вовсе. Некоторое время выждав, она боязливо потащила с коровой к хутору, не надеясь найти его в целости, да и живого Петрока тоже. Но хутор как ни в чём не бывало спокойно стоял под липами недалеко от дороги, а во дворе, выбравшись из погреба, похаживал с соломой в бородёнке её Петрок, и ветер доносил из-за тына знакомый дымок его самокрутки.

В ту ночь красноармейцы оставили на картофельном пригорке недокопанную траншею и куда-то ушли стороной; на большаке всё опустело, заглохло, наутро редкие военные повозки поворачивали обратно, в объезд на Кульбаки — за сосняком

самолёты разбомбили мост через болотистую Деревянку, и проехать в местечко большаком было уже невозможно.

Настала новая, страшная в своей непривычности жизнь под немцем, которая постепенно, с неотвратимой настойчивостью утверждалась в районе. Началось с того, что в Выселках распустили колхоз, разобрали небогатое его имущество, инвентарь, лошадей, и Степанида послала Петрока за своей когда-то обобществлённой кобылой. Но кобылы в колхозе не оказалось — накануне прихода немцев отправили подростка с подводой на станцию, откуда он так и не вернулся. Она накричала на Петрока, потому что, если такое случилось, надо было взять какую-либо другую лошадь — как же в хозяйстве без лошади? Как тогда жить? Но этот старый недоумок Петрок, разве он что сделает как следует? Только знает одно — молча дымить вонючей своей махоркой. И теперь вот живи как хочешь. Хорошо ещё, что осталась Бобовка, на неё вся надежда, она пока что кормит обоих. А что будет дальше?

Бобовке тем временем, наверное, наскучило пастись на жёстком придорожном откосе, и она взбралась повыше, на обочину большака. Степанида поднялась с камня — зачем позволять корове высовываться из-за насыпи, мало ли что может случиться, ещё кому попадёт на глаза. Правда, за эти два месяца жизни под немцем она поняла, что ото всего не устережешься, как ни скрывайся, а если они захотят, то найдут. Тем более что у немцев выискались уже и помощники из местных, полицаи, которые всех тут знают наперечёт. На прошлой неделе повесили двух коммунистов на площади, один из них был директором школы, в которой учились её Фенька с Федькой. Там же, в местечке, на стенах домов и заборах белели их объявления с обещанием суровой расправы с каждым за ослушание, неподчинение, тем более за сопротивление немецким властям.

Степанида поднялась на дорожный откос, хворостиной легонько стеганула по заду Бобовку, и та не заставила себя ждать, степенно ступая, послушно сошла в канаву. Конечно, трава тут была не очень съедобная — бурьян да осот, — но как-нибудь напасётся за день. Степанида немного постояла на большаке, оглядывая с насыпи знакомое до мельчайших подробностей хуторское поле. Минуло десять лет, как оно перестало принадлежать ей с Петроком, стало колхозным, но чьё будет теперь? Вряд ли немцы отдадут землю крестьянам, наверно же, знают, что если из рук выпустишь, то обратно не ухватишь. Какая она ни есть, эта земелька, этот проклятый богом пригорок по прозванию Голгофа, а вот жаль его, как матери жалко пусть и больного, единственного своего ребёнка. Сколько тут выходили её немолодые ноги, переделали работы её изнурённые руки! Сколько лет они с Петроком тут пахали, сеяли, жали, раскидывали навоз и мельчили глиняные комья, особенно там, на суглинке. К той же нехитрой крестьянской работе со временем приобщился и Федя. Федя же захотела учиться и уехала в Минск. Где теперь её дети? Федя так, может, ещё и жива, если посчастливилось вовремя уйти на восток, и теперь где-то в России. А Федька? Как пошёл осенью в армию, за зиму прислал три письма из Латвии, только начинал свою службу на танках, и тут война! Где он, жив ли хотя?

Сквозь узкий разрыв в облаках прорезалось солнце, и неожиданным холодным светом озарилась земля. Печальный осенний простор сразу утратил свой унылый вид, будто заулыбался навстречу желанной солнечной ласке. Освещённые косыми лучами, чётко обозначились на земле огороды, сады и постройки Слободских Выселок, длинным рядом растянувшихся по задорожному пригорку, поодаль засинела зубчатая стена елового леса, а ближе и правее весело закурчавилась на склоне чаща молодого сосняка, прорезанная узкой лентой дороги. В стороне от неё за полем отбросила длинные тени хуторская усадьба под мощными кронами двух старых лип. Это была её Яхимовщина. Степанида всмотрелась пристальнее, стараясь разглядеть там Петрока,



*Алексей Буров, Геннадий Прашкевич*

## О другом собеседнике, о космическом религиозном чувстве

*Два письма на одну тему*

*Геннадий Прашкевич (Новосибирск, Россия)*

Дорогой Алексей, детство я провел на железнодорожной станции Тайга.

В храме красного кирпича (творение томского архитектора К.К.Лыгина) на так называемой Воинской площадке хранилось гарнизонное имущество, всегда пахло оружейным маслом. Деревянный высоченный забор, огромные тополя. Церковь (действующая) далеко от этой, на самом краю города, я туда не любил бегать — кладбище рядом. Но на каждую Пасху мы, пацаны, конечно, в церковь смиренно наведывались.

Понятно, внешне — смиренно.

Есть хотелось — всегда! — а тут куличи, крашеные яйца.

Присматривали за всем этим добром, принесённым местными женщинами для освящения, очень строго. Но нас это нисколько не пугало. Мы же воровали не у Господа Бога, а у хорошо знакомых местных старух и женщин, кстати, прекрасно понимающих, что нам надо, собственно.

Но, конечно, гнали нас беспощадно.

Наверное, отсюда странное ощущение: посещение церкви — как некий грех.

Батюшка был худ, торжествен. Для нас он был просто поп. Мы его не боялись.

Главная опасность, мы это прекрасно знали, исходила не от батюшки, а от одного очень упёртого прихожанина — деда Филиппа. Говорили, что в молодости он был колчаковцем, но говорили об этом без злорадства, многие в начале двадцатых служили в войсках адмирала, дело давнее.

Но деда Филиппа мы боялись.

Узкое злое лицо, узкая борода, выцветшие глаза. Дать пацану, попавшему под руку, подзатыльник или просто оттянуть палкой, которую он не выпускал из рук, для деда Филиппа было удовольствие.

Так я думал.

И боялся.

Однажды мама попросила меня помочь ей отнести сотканые (на продажу) коврики этому деду. Пошли вместе. Одного меня мама бы не послала, догадывалась, что у деда Филиппа я скорее по шее получу, чем выручу что-то за коврики.

Вот мы и пошли.

Сразу за железнодорожной линией за тополями стоял невысокий деревянный дом с двумя окнами на улицу. Виднелось и чердачное окошко, всегда тусклое, тёмное от пыли и копоти (рядом постоянно паровозы ходили), да и стёкла самих окон особой чистотой не отличались.

Створка одного окна была полуоткрыта.

В это окно я и заглянул незаметно. Был уверен, что дед Филипп и дома ходит с палкой в руке. Был уверен, что даже дома он думает в основном о нас, наглых пацанах, тревожится за не испечённые ещё куличи. В доме у деда Филиппа, был уверен я, наверняка везде паутина, мыши бегают, кот к соседям сбежал.

Но дед Филипп, украсив глаза очками, сидел за столом и читал книгу.

Именно книгу, а не газету!

Тёмно-синяя, квадратная.

Я смотрел в приоткрытое окно и глазам не верил.

Дед Филипп, которого я представить себе не мог без тяжёлой палки, медленно водил пальцем по строкам.

«Да что же можно читать с таким вниманием?» — по-настоящему удивился я. Будь переплёт зеленоватым, я бы подумал, «Последний из могокан», а будь он светло-оранжевым, конечно, заподозрил бы «Путешествия и приключения капитана Гаттераса».

Но переплет был тёмно-синим.

Как бы даже пыльным.

Мы вошли, и дед сразу указал мне на сундук, дескать, сиди там и жди, до тебя ещё доберусь (палка, конечно, была при нём), а мама извлекла из сумки свои коврики.

Торговались, в общем, они недолго, зато много разговаривали.

О чепухе всякой. Я и вдумываться не хотел. Всё это время я, матёрый пятиклассник-читатель, сидел на сундуке, пытаюсь понять, какую книгу читает такой сердитый дед? «Финикийский корабль»? Да нет. «Корабль» — книжка тоненькая. Может, «Чапаева»? Он же бывший колчаковец...

Потом я всё-таки я разглядел название книги.

Она аккуратно лежала на столе, на чистой потёртой клеёнке.

И сердце у меня затрепетало. В те годы во всём видел я странные тревожные тайны, постоянно мучили меня предчувствия чего-то неведомого. Тайн вокруг было так много, что с ума сойти! — одну раскрыл, три новые явились. Вот и смотрел я с неудобного сундука на книгу, бережно положенную дедом Филиппом на серую клеёнку; смотрел с полной безнадёжностью, потому что понимал: никогда-никогда дед Филипп не позволит мне даже в руках подержать эту книгу.

«Иисус, сын Сирахов».

Я, конечно, попытался понять название.

Может, неизвестный мне Сирахов приходился папашей самому Иисусу?

Мало ли что случалось в прежней старинной жизни, думал я. Иисус — это имя я, конечно, слышал. И не только в церкви. Поминал этого Иисуса и бывший колчаковец (дед Филипп), и уверенный партиец (старший брат одного нашего соседа). И каждый поминал его по-своему.

О чём, мучился я, написано в этой книге?

Что там уже случилось, что там ещё случится?

Деда Филиппа, понятно, не спросишь. Да я бы и спрашивать не стал.

Дед Филипп даже на проходящую мимо корову мог взглянуть так, что она сама сворачивала на обочину.

Но книга, книга! Ведь останется неизвестной!

Мама, наконец, закончила свои разговоры и сказала мне: «Идём».

И только через пару лет я узнал кое-что о книге, увиденной в доме деда Филиппа.

Растолковала мне это молоденькая сотрудница городской библиотеки Лиля, недавняя выпускница Томского университета, очень благосклонно относившаяся к моим никем (на её взгляд) не контролируемым интересам.

Конечно, в то время я верил всему, что рассказывали молоденькие выпускницы замечательного Томского университета. Оказывается, эта вот наша всезнающая Лиля книгу «Иисус, сын Сирахов» (дореволюционную, напечатанную с ятями и фитой) изучала в своём университете очень подробно, даже в наших разговорах называла её «премудростию». Дескать, учительная это книга! Дескать, многого я ещё не пойму, делала значительные глаза. Даже произносила иногда и такое: «неканоническая книга». Причём произносила так, что переспрашивать я не решался, дескать, и сам пойму.

Но многое запоминал.

«Не опечаль души алчущей и не огорчай человека в его скудости».

Это же, наверное, именно ко мне обращался неведомый сын Сирахов.

«В собрании старайся быть приятным и пред высшим наклоняй голову».

Классных собраний я не любил, склонять голову перед учителями не хотел.

«Спасай обижаемого от руки обижающего и не будь малодушен, когда судишь».

Как-то слишком уж сложно выражался сын Сирахов. Будешь строго судить, тебе же и отломится. А кинешься спасти обижаемого от руки обижающего, так ещё и от него получишь.

«И будешь как сын Вышнего, и Он возлюбит тебя более, нежели мать твоя».

Про маму — это зря.

Её все, даже дед Филипп, уважали.

«Наблюдай время и храни себя ото зла — и не постыдишься за душу свою».

Этих слов я, наверное, не понял бы и с помощью самой умной библиотекарши, но сын Сирахов (будто чувствуя) добавлял: «Ибо в слове познаётся мудрость и в речи языка — знание».

В общем, Лилия много чего мне растолковала.

«Не желай говорить какую бы то ни было ложь; ибо повторение её не послужит ко благу». (Это не раз жизнью проверено.) «Не противоречь истине и стыдись своего невежества». (Да чему тут противоречить, чего стыдиться?) «Да радуется душа ваша о милости Его, и не стыдитесь хвалить Его».

Ну, не знаю... Со слов недавней выпускницы Томского университета (и главное, со слов этого сына Сирахова), получалось, что главное в жизни — это надеяться на Господа, он ведь не потерпит никакого вреда! Точно не потерпит, уверяла Лилия. Всё Он может. Всё Он умеет. Всё вокруг это Он создал. Ну, может, кроме скрипки, самой настоящей, думал я про себя. Скрипку-то эту точно создал мой отец — сам щипал еловую лучину, сушил, выгибал, из конюшни приносил конский волос...

Так жизнь шла.

В набегах на пасхальные яства местных старушек я, конечно, продолжал участвовать, но видение деда Филиппа — читающего! — меня потрясло. Настолько, что когда подошло время действительно серьёзных вопросов, я начал задавать их (ах, предчувствия!) не батюшке-попу (я и видал-то его только по Пасхам), и даже не выпускнице Томского университета (она, к сожалению, уехала из Тайги), а очень уважаемым мною учёным и писателям, чьи книги меня восхищали.

Разумеется, с помощью почты.

А потом в жизни так получилось, что видел я многие храмы: и католические, и православные, видел церкви коптов, и мечети мусульман, и буддийские святые места. Даже побывал (про себя так и называю его — храмом) в научном городке Томаса Алвы Эдисона в Менло-Парк (штат Нью-Джерси).

Жизнь складывалась.

Но многое меня смущало.

Вот Джеймс Максвелл, автор знаменитого «Трактата об электричестве и магнетизме», не просто посещал церковь постоянно, но даже стал старостой в одной из них. Исаак Ньютон, во многом изменивший наше понимание физики, математики

и астрономии, главным делом своей жизни считал тщательное изучение библейских текстов. Дмитрий Иванович Менделеев... Чарльз Дарвин... Академик Павлов... Владимир Иванович Вернадский... Даже бывший колчаковец дед Филипп... Даже выпускница университета... Всех влекло к чему-то необъяснимому. Правда, Михайло Ломоносов о многом догадывался (в книге «Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санкт-Петербургской императорской Академии наук мая 26 дня 1761 года»), писал: «Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вымерять циркулом. Таков же и богословия учитель, если он думает, что по псалтире научиться можно астрономии или химии».

Наверное, так.

Это Эдисон хотел большего.

В своих записках *Diary and Sundry Observations* («Дневник и различные наблюдения», 1948) он очень просто, очень ясно рассказал о своих замечательных попытках создать «духофон» — аппарат для общения с умершими.

Прямо скажем, вызывающее желание для верующего человека!

Но Эдисон действительно пытался сконструировать этот свой «духофон».

Более того, он настолько был уверен в успехе (это же так интересно, так увлекательно — обойти *запрет свыше*), что даже заключил договор со своим коллегой инженером Уильямом Уолтером Динуидди, что тот, кто первый из них умрет, непременно отправит ещё живущему какое-то послание с того света.

Как странно, думаю я, что именно Эдисон, которого многие считали перфекционистом и жутким занудой, пытался обойти *великий запрет*, и его вера этому (тоже — странно, странно) ничуть ему не мешала. Да почему бы и нет? Эдисон весьма трезво полагал, что в природе весь обмен информацией осуществляется исключительно на электромагнитной основе, а раз так, то почему бы и не вмешаться в то, что кажется незбылемым?

Менделеев... Эйнштейн... Бор... Павлов... Вернадский...

Не буду перечислять тех, кто бесспорно утвердил себя в науке, подчеркну только то, что большинство из этих титанов почему-то упорно искали себя ещё и в религии. Всё мало им было. При этом глубокая приверженность вере почему-то не делала примитивным их отношение к миру. В конце концов (думал я), смысл науки, возможно, в том и состоит, чтобы искать (и находить, непременно находить) естественные причины самых разных, самых противоречивых природных явлений...

Эти краткие (наверное, и не совсем ясные) размышления, Алексей, я хочу закончить именем своего друга, к сожалению, уже ушедшего из жизни, — томского фантаста Виктора Колупаева, по образованию радиофизика.

В 1994 году Виктор выпустил книгу «Пространство и время для фантаста».

Тираж её — 500 экземпляров. Один из первых экземпляров он подарил мне с прекрасным пожеланием удачи — во всех временах и пространствах.

Я читал эту необычную книгу с изумлением.

«Классе в седьмом или восьмом, уж и не помню точно, — писал Виктор, — я впервые обнаружил, что существуют Пространство и Время. День, ночь, год, расстояние до школы и до леса — это всё я, конечно, знал и раньше. Они были обыденными, естественными и понятными. А вот то Пространство, которое само по себе, и то Время, которое тоже само по себе...

Я шел из школы.

Наш дом стоял на склоне горы (посёлок Незаметный, ныне — город Алдан, Якутия), так что с улицы дом выглядел одноэтажным, а в глубине двора сразу становился двухэтажным. И мы жили в последней квартире на втором этаже, окнами на железнодорожную станцию. С того места, где я шел, открывался вид на вокзал, железнодорожные пути, забитые составами, прожекторы на стальных опорах, виадук, депо. Там что-то грохотало, лязгало, гудело, переливалось огнями...

Я остановился и посмотрел чуть вверх, потом выше, а затем вообще задрал голову, сколько мог. И тут я обомлел. Я не понимал, что произошло. Я вдруг увидел небо объёмным. Одни звёзды были ближе, другие дальше, а третьи вообще мерцали из бездонной глубины. Они были цветными: голубыми, жёлтыми, красноватыми, почти белыми. Какие-то странные фигуры, знаки, таинственные письмена образовывали они на небе. И небо было прекрасно, неописуемо красиво, невыразимо красиво и в то же время жутковато своей необъятностью. Я и прежде тысячи раз видел звёзды, они всегда были красивы. Но в ту ночь в них появился какой-то скрытый и непонятный для меня смысл. Я уже знал, что звёзды — это далекие, далекие солнца. А теперь я понял, что число их бесконечно. Потрясенный, я простоял на улице часа два. И уже мороз пробрал меня до самых костей сквозь ватную телогрейку и стеганные штаны. Замерзли пальцы ног в залатанных и подшитых в два слоя катанках. Пальцы рук приходилось то сжимать в кулак, то разжимать. А я всё стоял и смотрел, иногда поворачиваясь на месте да изредка поправляя сваливавшуюся с головы шапку...»

Изумление перед увиденным никогда не покидало Виктора.

Мы с ним говорили на эту тему. Мне увиденное им это тоже было близко.

Мы жаловались друг другу на банальность бытия, которая, как белый, нет, серый шум, всё в голове забивает. Радовались: а мир всё равно прекрасен! Часто непонятен, труден, а всё равно прекрасен. «Я не знаю, — писал в своей книге Виктор, — каким образом Вселенная может выйти из сингулярного состояния. Скорее всего, эта проблема не просто физическая. Но предположим, что скорость фундаментального воздействия начинает уменьшаться и Вселенная выходит из сингулярного состояния. Это происходит не в шуме и грохоте Большого взрыва, а в тихом Сиянии и Славе».

И я вспоминал деда Филиппа, сидящего над книгой «Иисус, сын Сирахов».

И вспоминал слова Ломоносова, правильные по сию пору. И вспоминал старших своих друзей, никогда не отворачивавшихся от непонятного, или не понятого, а потому и добившихся многого. Что их заставляло поднимать голову к звёздам, конструировать аппараты, которые могли бы связывать даже самые разные миры, даже связуемое с несвязуемым? Эйнштейн и Вернадский, Хокинг и Эдисон, Нильс Бор и Виктор Колупаев, дед Филипп, наконец... что или кого они искали? кого им не хватало в их и без того огромном многознании, почти божественном?

Однажды (не ожидая ответа) я спросил об этом Виктора.

Но он ответил, сразу ответил: «Не с кем поговорить».

И, подумав, повторил: «Поговорить не с кем».

## *Алексей Буров (Чикаго, США)*

Дорогой Геннадий Мартович, если бы Альберту Эйнштейну довелось услышать переданные вами слова Виктора Колупаева, он, я уверен, был бы глубоко взволнован и тронут. Случившееся с семиклассником Витей было, по Эйнштейну, самым главным чудом, которое только и могло произойти с человеком — пробуждением «космического религиозного чувства». В содействии таким пробуждениям и в развитии возникающего отсюда мировосприятия Эйнштейн видел главную задачу науки и искусства. Примечательно, что сама наука, по мысли великого физика, должна служить этой сверхнаучной задаче — именно так, а не наоборот.

Те, с кем такое пробуждение случается, становятся другими людьми, уже не вполне от мира сего. Им открывается Вселенная, каким-то образом вся, не только с её мириадами звёзд, но и с её Пространством и Временем самими по себе, как это

великолепно описал Колупаев. У человека вдруг (именно вдруг, как и все великие открытия) появляется какая-то позиция за пределами пространства и времени, «трансцендентная» им, с которой неким образом открывается пространство, время и всё, что их наполняет. Разумеется, «открывается» это человеку не в том смысле, что он видит в деталях, и не в том, что понимает, нет, это какое-то особенное видение, захватывающее, ошеломляющее человека, сразу становящееся чем-то исключительно важным. Вселенная неожиданно становится предельно близкой и предельно таинственной одновременно. Я бы сравнил это с тем чувством, которое можно испытать в танце с прекрасной незнакомкой, когда всё получается просто волшебным, и когда она вдруг... посмотрит тебе в глаза.

С кем можно разделить такое переживание, Геннадий Мартович? Часто — не с кем.

Не с кем поговорить, как грустно заметил ваш друг Колупаев. Я думаю, эта ситуация типична. Такие пробуждения редки, и когда случаются, то человек обнаруживает себя, как правило, в полном одиночестве: его попытки поговорить об увиденном встречают безразличие, неприятие, сарказм, брань, а иной раз и чего похуже. Люди спят, писал Лев Шестов, размышляя о приговоре афинян Сократу, и не любят, когда их будят. Сон жизни — эта аналогия встречается во многих великих учениях, и о мудрецах говорят, как о пробужденных, кто сумел открыть глаза и увидеть истину, то, что подлинно есть, а не то, что лишь снится. Шаблонное мышление, к которому мы все склонны, было бы точнее назвать цепью стандартных, автоматических реакций на раздражители, действий по уже готовым, самим собой наплывающим в наш ум алгоритмам. Оно и правда подобно сну — мы просто следуем тому, что само собой находит из памяти, привычек, бессознательного. Ум наш в этом состоянии пассивен, ведом, он лишь реагирует.

Ум человека, однако же, может быть и в ином состоянии, активном, или в состоянии энергичного критического поиска истины. В таком, активном, состоянии мы не следуем шаблонам априори, но всерьёз спрашиваем об их годности, о том, тем ли мы вообще заняты, каков смысл жизни человека вообще, есть ли смысл всего сущего, а если есть, то в чём, и на каких основаниях можно вообще решать такие вопросы? Мы строим гипотезы, критически их проверяем всеми доступными способами, выбираем ту, что выдерживает испытание лучше других, полагаемся на нее, мыслим и действуем по ней и снова проверяем её на основе результатов наших действий по ней. Это трудный путь, на свой страх и риск, длиною в жизнь. Он очень затратен — по времени, по энергии, и да, он лишает спокойствия безответственного течения по реке жизни. Отстаньте, как все живут, так и я, таков ответ пассивного ума на вопросы, способные пробудить.

«Как все» — это одно из имён сонного ума, обычной жизни по шаблонам.

Чтобы выйти из этого состояния, надо ставить самые трудные, самые опасные вопросы; человеку же, естественно, хочется избегать всего трудного и тем более опасного.

Тот же, кому Вселенная заглянула в глаза, становится иным, уже не как «все» — если только не побежит со всех ног от пережитого.

Язык наш приспособлен к выражению более-менее общего всем людям; когда же мы выходим к передаче достаточно редких состояний души, о которых не принято говорить, он сплошь и рядом пробуксовывает, у нас не хватает словесного материала, как на горной вершине не хватает воздуха. Тогда мы прибегаем к метафорам, расширяем значения уже существующих слов на редкий опыт, создаем неологизмы, прибегаем к заимствованиям из других языков, если находим там нечто созвучное.

«Космическое религиозное чувство» — термин, придуманный Эйнштейном, и впервые появившийся в его статье 1930 года «Религия и наука». Это чувство весьма особым образом соединяет в себе восхищение таинственной бесконечностью космоса

и трепет перед ней. Как писал Эйнштейн, космическое религиозное чувство, пронизанное интеллектуализированной любовью к Первоначалу, Богу, оказалось зерном, из которого проросла математическая физика. «Эта твёрдая, связанная с глубоким чувством, вера в высший ум [superior mind], который проявляет себя в мире опыта, представляет собой мою концепцию Бога», — писал Эйнштейн в год своего пятидесятилетия.

Как же, однако, тогда понимать Ломоносова, с его уличением в нездравомыслии неких математиков, хотящих божескую волю «вымерять циркулом»? Разве не противоречит это словам и делам Эйнштейна? «Я хочу знать, как Бог создал этот мир, знать Его мысли, а всё остальное — уже детали», — признавался Эйнштейн аспирантке Эстер Поляновской, когда они беседовали, гуляя по весеннему Берлину 1925 года. Думаю, что Стивен Хокинг схватил самую суть этого вопроса Эйнштейна, слегка его переформулировав: «Насколько велик был выбор Бога при создании Вселенной?» Разве не надеялись Эйнштейн и его последователь Хокинг в определенном смысле вымерять циркулем божественный замысел о мире? Вся физика построена на презумпции математической красоты физических законов — и эта «пифагорейская» вера оправдалась так, как мало какая иная в истории человечества. Разумеется, весь замысел божий о мире циркулем не измерить, но ведь и без циркуля, то есть без математики, всякое представление об этом замысле будет весьма неполным.

Но подождите — скажут тут некоторые читатели, — какое отношение к прекрасному космическому чувству Альберта Эйнштейна и Вити Колупаева, к волнующим тайнам Вселенной может иметь ветхозаветная премудрость патриарха давно ушедших времен бен-Сираха? Бойся, мол, Бога, чти родителей, остерегайся спорить с начальством и вот это вот всё?

В 1917 году вышла книга немецкого теолога Рудольфа Отто «Священное», ставшая вскоре классической. Отто пытается высказать, что стоит за такими словами как «страх Божий», «благоговение», «смирение» и другими понятиями религиозного ряда. Пытаясь найти подходящие слова для раскрытия мистического состояния души, Отто признаётся в невозможности решить эту задачу для тех, у кого не было соответствующего эмоционально насыщенного опыта. После этого весь текст книги Отто оказывается неизбежно адресован лишь тем, кто уже как-то знает, о чём идет речь, в чьей душе находят отклик чувство божественного величия, высшей тайны, восхищения и святости запредельного. Может быть, как-то это переживали многие, но, пережив, отшатывались, боясь то ли оказаться в одиночестве, то ли чего и похуже — хотя немного найдется в мире вещей хуже одиночества. Те же, кто не терял пережитое, но удерживал и развивал его, становились чудаками, юродивыми, странниками, мыслителями, пророками — хоть в атеистическом обществе, хоть в религиозном. Люди такого рода обретали тот самый страх Божий, на который бен-Сирах, и не он один, указывает как на «начало премудрости», и то ощущение мистического трепета, которое Рудольф Отто называет, переходя на латынь, *Mysterium Tremendum*.

Это чувство, пережитое со всей остротой, и не преданное потом, освобождало человека от рабства перед «всеми»: перед царями, перед духом времени, перед народными кумирами, перед чем и кем бы то ни было. Оно выводило человека на уровень бытия, мироздания, пространства и времени как таковых, законов природы, жизни, мышления, смысла всего — выводило на уровень тайны происхождения всего сущего, ставя человека лицом к лицу с ней. Это не значит, конечно же, что семиклассник Витя Колупаев всё и прямо в таких понятиях осознал, замерев под яркими якутскими звёздами. Но это значит, что он невыразимо почувствовал, перешёл в то самое состояние великого трепета, *Mysterium Tremendum*, которое есть начало премудрости.

Именно в этой точке находился отец рационализма Рене Декарт, когда писал, что он, вообще говоря, мог бы допустить, что на самом деле нет ни земли, ни звёзд, ни даже его тела, но не может допустить, чтобы всеблагий Бог его обманывал. Именно в силу последнего восприятие земли, звёзд и собственного тела не могут быть ложными, хотя и стоит ожидать их неполноту и поправимые ошибки восприятия.

В этой же точке совершались все великие открытия физики.

Один из отцов-основателей удивительной квантовой физики Вернер Гейзенберг писал вскоре после войны, на сорок пятом году своей жизни: «Существует высшая сила, неподвластная нашим желаниям, которая решает и судит. Ядро науки формируется, на мой взгляд, чистыми науками, которые не озабочены практическими применениями. В них чистая мысль пытается открыть скрытую гармонию природы. Человечество может ныне обратиться к этой сокровенной области, в которой науку невозможно отделить от искусства, в которой воплощение чистой истины уже не затемнено человеческими идеологиями и желаниями. Можно, конечно, возразить, что эта истина недоступна широким народным массам и потому она не сможет оказать на них значительного влияния. Но массы и прежде не имели доступа к этой центральной области, и, может быть, люди ныне удовлетворятся сознанием того, что, хотя врата и не открыты для каждого, за их порогом нет обмана. Мы там не властны, но всё решается высшей силой. В разные времена люди называли этот *центр* разными именами. Иные называли его «духом», или «Богом», иные прибегали к сравнениям, звукам или картинам. К этому центру ведет много путей, даже и сегодня, и наука является лишь одним из них. Возможно, в наши дни у нас уже нет общего языка, на котором мы могли бы понятно говорить об этой области. Это может быть причиной, по которой многие люди не могут ее узреть, но она тем не менее никуда не исчезла, и только она и может служить основой мирового порядка... Наука может содействовать взаимопониманию между народами. Она способна на это не потому, что может помочь больным, не потому, что некая политическая сила может запугать с ее помощью, но лишь привлечением нашего внимания к тому *центру*, способному установить мировой порядок, возможно даже, просто к факту, что мир прекрасен...»

Но как же быть людям, которые или не имели подобных переживаний, или убежали от них? Не знаю, Геннадий Мартович, но думаю, что люди такого рода — самые несчастные. Отвергнув живительную связь с гейзенберговским «центром», с Небесами, они либо погибают в тоске, убивая себя разнообразными способами, либо служат идолам, эрзацам Всевышнего, становясь адептами убийственных псевдорелигий, вроде марксизма, фашизма, нацизма, зелёного и климатического культов, и прочих увлекательных утопий. Но как же различить доброкачественную религию от злокачественной? Ну, если мы близоруки, не видим пропасть заранее, то нам, возможно, придется познать ее на опыте падения. Если истина не видна, то остается лишь один способ исследования, весьма дорогостоящий — «по плодам их узнаете их».

Я возлагаю свои надежды, Геннадий Мартович, на тех, для кого «религиозное чувство», мистическое переживание тайны, премудрости и красоты этого мира, страха Божия, *Mysterium Tremendum* — не пустые слова, кто прошел через этот опыт и держит его близко к сердцу. От числа таких людей критически зависит здоровье общества. Одиноким читателем бен-Сираха, бывший колчаковец дед Филипп, подхватывающая пламя опасной библейской мысли юная библиотекарьша Лиля, зачарованный звёздами фантаст и радиопизик Виктор Колупаев, как Галилей, Эйнштейн, Гейзенберг и многие им подобные, безотносительно к их земному успеху и даже масштабу раскрытия дарований, — эти странники и составляют, по моему убеждению, ту божественную «закваску», благодаря которой тесто этого мира по-прежнему заслуживает внимания и заботы Того, Кто это тесто и замесил.



*Вера Калмыкова*

## На уровне крови

*О художнике Артёме Киракосове*

Тысячелетиями предки московского художника Артёма Киракосова жили на побережье озера Ван. Его дед ещё подростком участвовал в Сардарapatской битве. Но семья уехала с насиженного места. За сто лет, кажется, можно бы и обрусеть, забыть свои корни.

Но Киракосов всегда говорит «мы»: наша историческая память... наша территория... наши традиции... Как будто никто никуда не уезжал. И рассказывает об истории Армении, о её первохристианах и царях, будто о ближайших родственниках и соседях, и о себе самом. Государство Осроена со столицей в Эдессе — его личное место жительства. Приход апостолов Фаддея и Варфоломея, основателей апостольской церкви, в результате чего Армения стала первым христианским государством в мире, — не в первом веке нашей эры, а совсем недавно.

Даже в том, что Киракосов стал художником, заслуга его прародины: «Мой род, — говорит он, — жил в самом красивом регионе Армении. Живопись во мне сидит на геномном уровне». То же самое и с Армянской церковью в Иерусалиме. И с национальными цветами: ярко-синим и абрикосовым. И со здешними древними камнями, во времена царя Трдата белоснежными, а теперь почерневшими от времени... или от горя.

Артём Киракосов постоянно думает об этих камнях. Веками лежащие на месте, для него они движутся, проходя *через* — а может быть, *сквозь* — историю, время. Мягкий туф хранит прикосновения пальцев. Камень для национальной культуры священен, для врагов враждебен, недаром все, кто не с добром приходил сюда, стремились первым делом раздробить церкви, скульптуры, надгробия. Армяне же, напротив, всегда взаимодействуют с камнями: то вставят кусочек известняка в пустотку, то положат один на другой, то вырежут изображение... Так возникали — *складывались* — народные часовни.

Но должна же быть у человека личная биография. Артём Киракосов родился в 1958 году в Жуковском. Племянник великого скульптора XX — XXI веков Лазаря Тазеевича Гадаева (1938—2008), он с детства был его учеником. Ездил на историческую родину сначала, конечно, с родителями. В восемнадцать лет по настоянию и благословению Учителя совершил первое самостоятельное пешее путешествие по Армении. Много рисовал.

В 1977 году Киракосов окончил декоративно-оформительское отделение Московского государственного академического художественного училища памяти 1905 года. С 1980 года работал в методическом фонде факультета живописи МГАХИ имени В.И.Сурикова, осваивал печатную графику, учился экспозиционному и фондовому делу. Со следующего года стал участвовать в выставках Союза художников. Тогда же совершил первую автомобильную поездку по Армении с Мирой Хо Чун Хва и Ашотом Киракосяном, которых называет побратимами в искусстве и жизни. Сделал первые офорты на армянские темы. В 1987 году в галерее «Ремизова 10» (ныне «Нагорная») состоялась персональная выставка Артёма Киракосова «Армения»: он показал натурные камерные темперные этюды по картону.

Искусство — *любовь деятельная*; но им одним, увы, не ограничилось. С 1987 года Киракосов участвовал в инициативах за мирное разрешение конфликтов в Нагорном Карабахе и других регионах тогда ещё существовавшего СССР. В «чёрном» 1988-м вместе с другими волонтерами принимал беженцев после истребления армян в Сумгаите, организовал и привёз в столицу Нагорного Карабаха московский строительный отряд, возводил жильё для беженцев под Степанакертом. Художник стал свидетелем начала войны за независимость. А спустя некоторое время в составе московского отряда комитета «Карабах» участвовал в спасательных работах в Спитаке после катастрофического землетрясения 7 декабря 1988 года.

...На земле остались лежать крыши домов, словно раскрытые вверх переплётными книги. Нельзя было пить воду...

Это были странные годы: величайшее потрясение — и мощный прорыв в личном творческом и профессиональном развитии. Окончание Суриковки, где преподавали в том числе искусствовед Евгения Владимировна Завадская (1930—2002), художник Георгий Александрович Щетинин (1916—2004). Обе линии жизни Киракосова — искусство и действие любви — сошлись в дипломной работе «Землетрясение», представлявшей собой 24 символических фотоплаката со стихами армянских поэтов X — XX веков. Редчайший случай: этот проект автор продолжает и доныне, обогащая, дополняя и выставляя каждые десять лет (1998, 2008, 2018).

Катастрофа конца восьмидесятых пробудила в Киракосове желание писать. Он создавал, как говорит, «много всякого текста», всегда эмоционально насыщенного, яркого, стилистически архаичного, так что не очень понятно, в каком веке написано. Сдержанный, спокойный, мастеровитый — на все руки! — вполне современный человек, а звучат древние слова, торжественные, евангельские интонации.

**В армянской традиции мы (*а мы — они!*) не изображаем Крест символом казни и гибели человека на нём, истекающем кровью, не носим таких знаков на груди, но Древом Жизни, полным радости, воскресшим ветвями, цветами на них, плодами щедрыми, и Человека Воскресшим — это пришло нам с апостолами I века от Его Рождества, Христова.**

В 1990-м Киракосов развивал апокалиптическую тему, создавая циклы символических композиций «Бои», «Чёрный период». Но вскоре понял, что необходимо, как сам сказал, *уйти умом* от катастрофы, сберечь собственное сознание, в котором он только и может сохранить Армению — а где ещё? Ведь всё, что мы сберегаем, оживает прежде всего в нас, а потом уже где-либо вовне.

Удивительно или логично, что Артём Киракосов пришёл в реставрацию? А если прав Осип Манделштам, и мыслить логически — значит непрерывно удивляться?

Мастерская реставрации станковой масляной живописи Всесоюзного (теперь Всероссийского) художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э.Грабаря. Работа в Абрамцеве и других музеях.

В 1992 г. Артём принял крещение в храме Святого Воскресения (Сурб Арутюн) на Ваганькове. В 1994 г. открылась постоянная выставка его работ в конференц-отеле Estrel в Берлине. В 1995-м участвовал в строительстве памятной часовни, церковного комплекса, культурного центра, вместе с Виктором и Ириной Григоренко стал основателем музея на месте гибели протоиерея Александра Меня.

И всё это на фоне постоянной реставрации памятников истории и культуры, ставшей не только профессией, но и судьбой.

Признанием профессионального сообщества стала для Киракосова выставка «Путешествия Пером» (2001) в галерее журнала «Наше наследие». Здесь были собраны графические циклы, посвящённые Армении. Через три года в музее Серебряного века он показал работы, с благодарностью посвящённые Валерию Брюсову, Мартиросу Сарьяну, искусству и жизни Армении и России начала XX столетия.

С 2004 года Киракосов начал преподавать в Суриковке, руководил мастерской реставрации факультета живописи, которую, собственно, и реанимировал: мастерская перешла на шестилетний академический государственный образовательный стандарт, получила статус и помещения, оборудование и, что самое важное, педагогический состав. Выпускникам стали выдавать дипломы государственного образца. Прошло четыре года, и заслуги Киракосова были отмечены благодарственной грамотой Академии художеств России. В 2010-м он подарил свои работы картинной галерее Арцаха, в 2020-м — ереванскому Фонду культуры и образования Анаит Манукян. Затем было преподавание в Абрамцевском художественном училище и творческих студиях, осуществление крупных монументальных музейно-церковных проектов, работа в объединении «Музеи наукограда Королёв», исследование культуры Радонежья. Мало кто знает, что Сергиев Посад — побратим армянского Эчмиадзина: духовные центры России и Армении связаны ближе, чем можно себе представить.

...Древние фрески Армении — почти все — уничтожены. Сохранившиеся, буквально единицы, представлены в Национальной галерее. Бумага оказалась долговечнее, многое удалось спасти. Киракосов называет родную культуру кочующей, подчёркивая, что в круговороте исторического безумия армянскому народу удалось сохранить творческое горение, стать «плазмой мира», обновляющей другие народы.

Деятельность Киракосова как реставратора — личный ответ (или вызов?) разрушителям всех эпох и народов. Возвращение к жизни раненных временем холстов или листов — не просто работа с материалом или даже спор с мировой энтропией, но «восстановление личности руками». Это касается, например, произведений Вячеслава Леонидовича Сидоренко (1901—1944), участника знаменитых объединений «Голубая роза» и «Четыре искусства». Его творчество связано с советским Таджикистаном. Киракосову удалось оживить работы Сидоренко, и московская «Галерея на Чистых прудах» экспонировала их с большим успехом. Ещё один художник, воскрешённый Киракосовым вместе с руководителем галереи Валерием Новиковым, — Костик Малахов (1963—2016) из Липецка.

«Человек, который жил, должен продолжать работать», — утверждает Артём Киракосов. Восемь лет отдал он спасению произведений Станислава Кирилловича Гончарова (1940—2003), чьё творчество с 1974 года связано с Загорском, точнее, всё с тем же Сергиевым Посадом. Что осталось от работ, кто бы видел: кусочки, крошево.

Однако не только умершие, но и живые заслуживают поддержки и увековечения того, чем они заняты.

В нашумевшей международной истории с мозаиками Александра Давидовича Корноухова в Ватикане Артёму Киракосову суждено было поставить даже не точку, а жирный восклицательный знак. Его усилиями уничтоженная по прихоти падре Марко Рупника работа Корноухова, его авторство и честное имя профессионала были восстановлены.

Как и когда Киракосов всё успеваешь? Всё, конечно, происходит внутри нас, в уме и сердце. «Моя задача — успеть сказать о других и о себе. Я обо всех написал. Всё, к чему способен, надо делать сразу, параллельно. Куда заносит, туда и идти. Это дорога, а не собственный выбор. Не нужно искать Бога, Бог тебя Сам найдёт, не надо только уворачиваться», — художник Киракосов говорит о себе только так. Помимо прочего, за последние годы увидели свет пять монографий о художниках, изданных его стараниями.

Резать трубы для скульптуры в Сергиевом Посаде? Отлично, будем резать. Пилить брёвна? Не вопрос. Складывать щебень?..

Ранние масляные работы Киракосова близки традиции 1920-х, когда живописное начало преобладало над вульгарно понятой натурой: состояние природы не изображалось без собственного переживания, и в этом заключалась художественная идея. Лучшие художники-шестидесятники следовали этому закону. Довольно быстро молодой мастер обратил внимание на древние образцы, скажем, первохристианские росписи в катакомбах. Соединив советскую школу рисунка с архаикой, он создавал графические работы, удивляющие сочетанием скрупулёзности с приёмами доренессансных и народных примитивов. Резные камни Киракосова — тоже результат творческого синтеза: на весь мир знаменитые хачкары словно вдохнули свою мудрую мощь в авангардные композиционные приёмы, а в результате — скульптуры вне времени или на все времена. В эстетике цветных литографий к армянским народным сказками чудится опыт копирования средневековых фресок. Разбитое на мириады осколков собственное лицо на фотоколлажах серии «Землетрясение» — знак глубокого, необратимого горя, которое может одолеть только творчество.

Во всеобщую историю изобразительного искусства Артём Киракосов входит так же, как в армянскую, — по праву жителя. Рельефы, выполненные масляной краской и мастихином, вызывают в памяти русскую старообрядческую бронзовую мелкую пластику. Некоторые работы выполнены в стиле пуантилизма, но отличаются от классических образцов стиля более уравновешенной цветовой гаммой и характером мазка, в котором проявляется могучий темперамент автора. Другие — в духе абстракционизма. Третьи декоративны. Но Киракосов как он есть — в соединении всех этих манер на изображениях, где густота красочного слоя кажется пропитанной воздухом, отсутствие контуров не мешает узнаваемости изображённого, а при этом чашечки цветов раскрываются, будто церковные купола, и всё пребывает в молчании — или в смиренном пении священной мелодии, в бесконечной хвале, в благодарении Создателю.

Но когда Киракосов пишет Райский сад, то это только Армения. Другого Рая для него нет. Но и по Библии Рай располагался, кажется, там.

---

## АРТЁМ КИРАКОСОВ



Артём Киракосов — живописец, реставратор, культуртрегер. Окончил Суриковский институт, был его преподавателем. Московский художник армянского происхождения, Киракосов всеми своими немалыми умениями служит исторической родине — Армении.



Мой райский сад. Посвящение садам французских и армянских художников.

Из цикла «Счастье жить». 2001–2002.

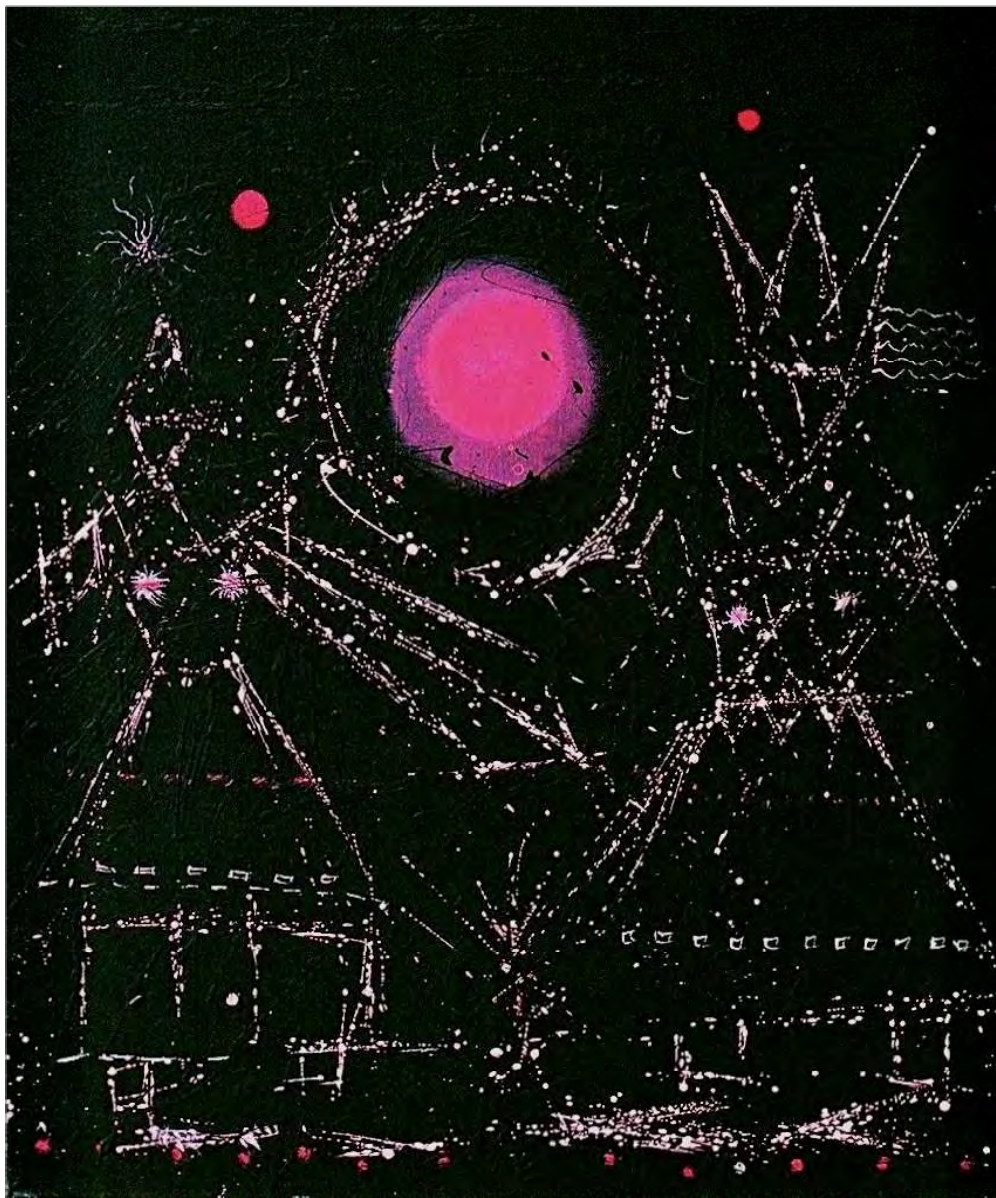
*Диптих, левая часть. Холст, смешанная техника*



Королева. Правая часть диптиха. 1985–1986.  
*Цветная литография, выворотка*

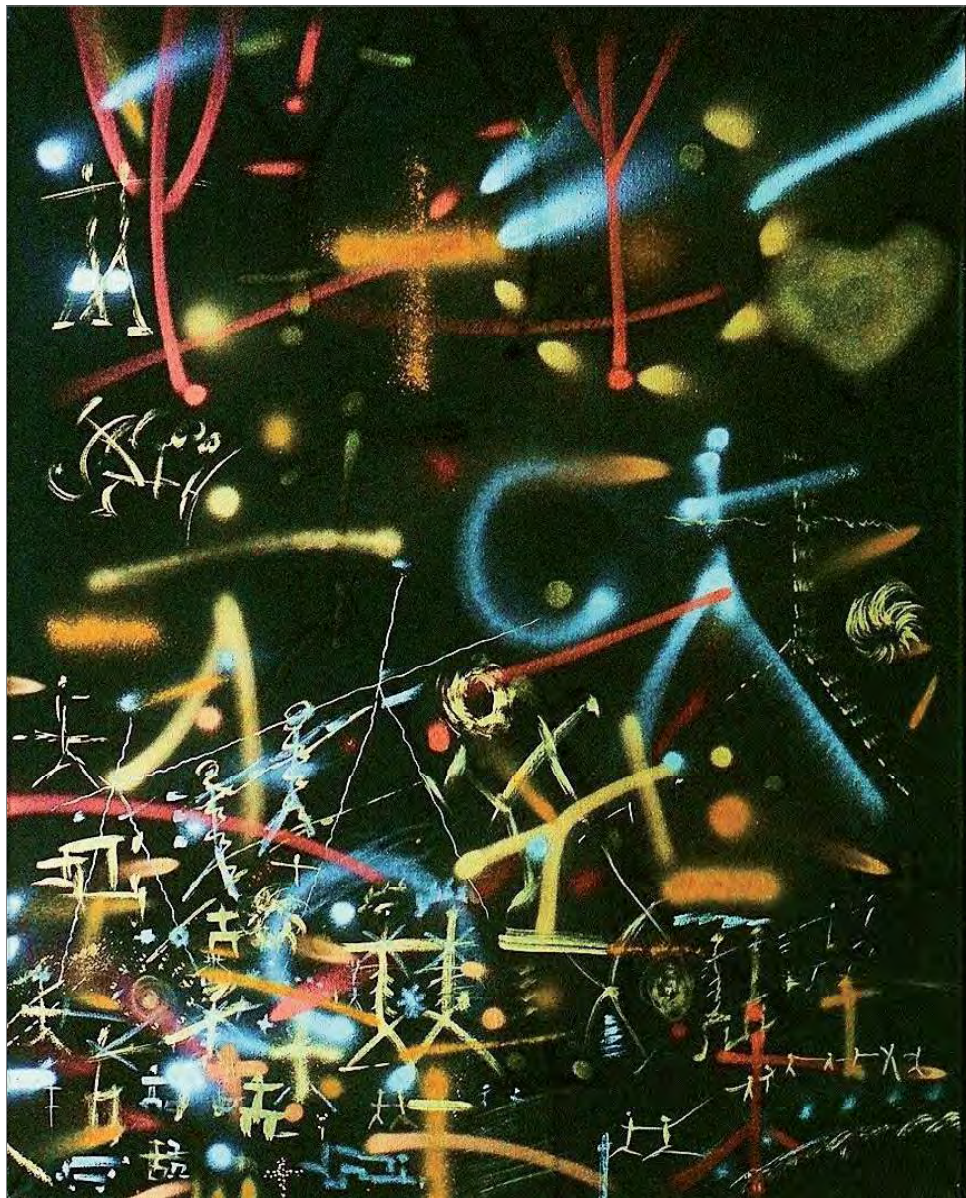


Копия с армянской иконы XVII века «Богоматерь с Младенцем». 1984–1985.  
Цветная литография

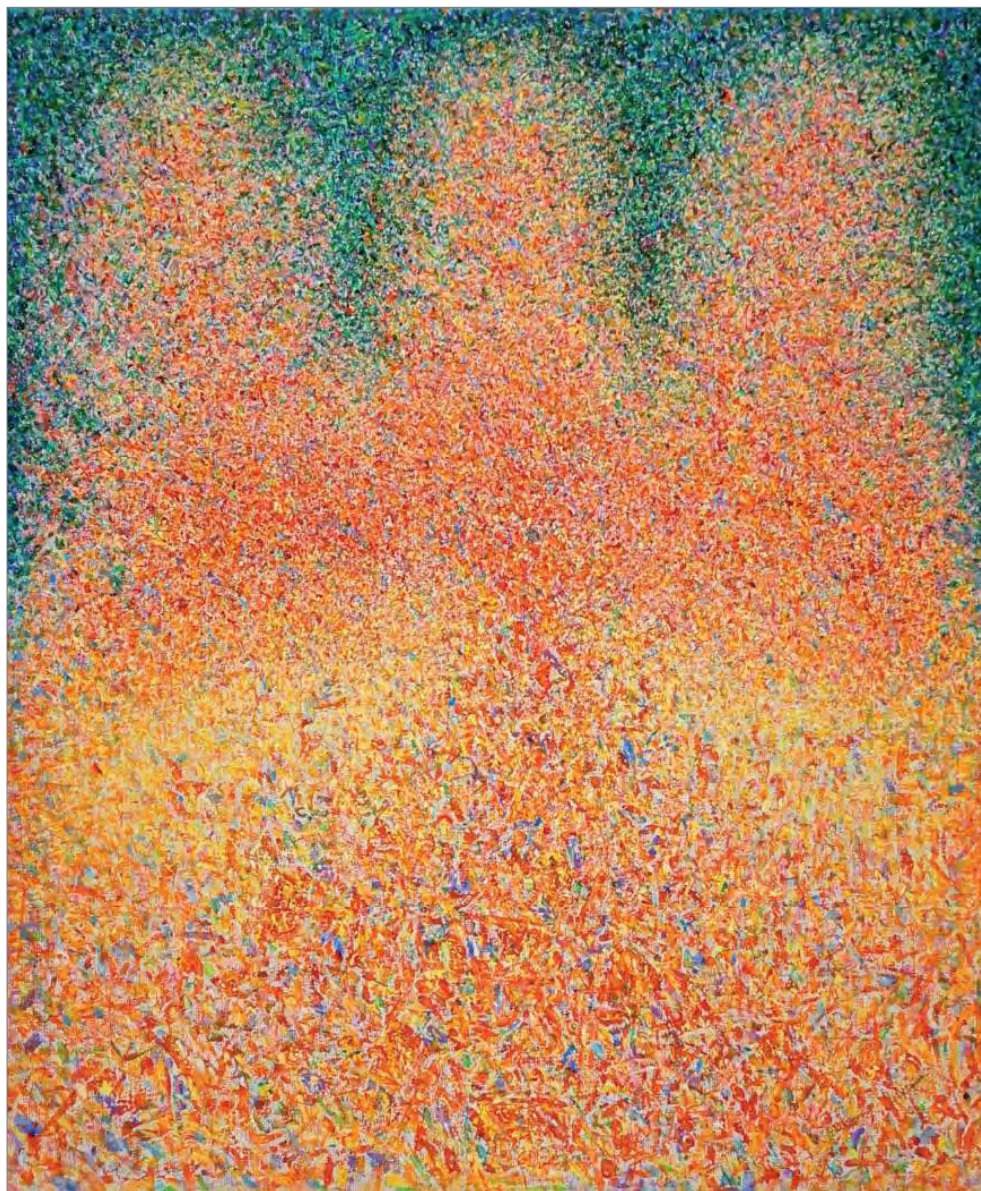


Из серии «Песни». 1994.  
Холст, смешанная техника

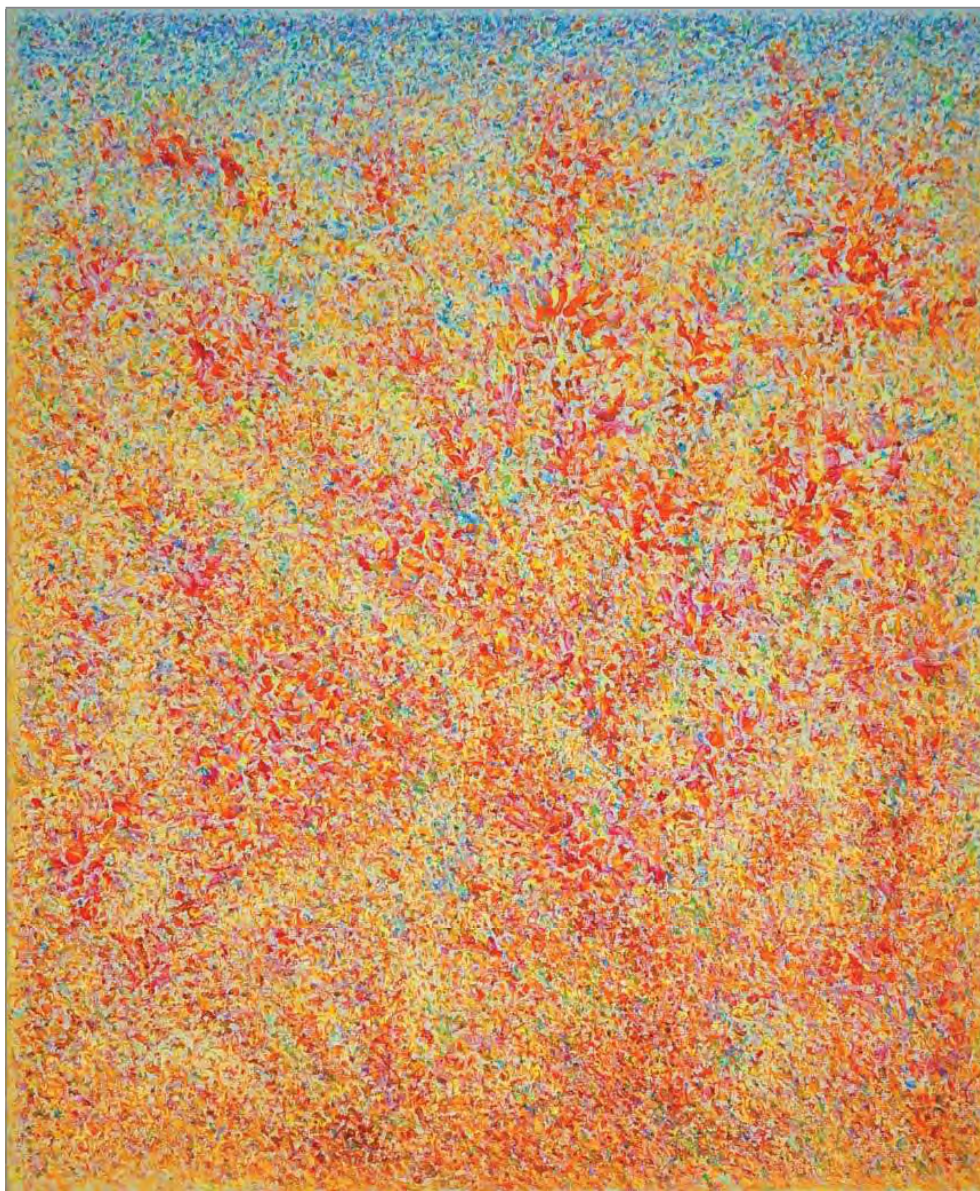




Из серии «Песни». 1994.  
Холст, смешанная техника



Древо Ветхого Завета. Троица Пресвятая. Из цикла «Счастье жить». 1999–2000.  
*Холст, смешанная техника*



Древо Нового Завета. Воскресшая Смоковница. Из цикла «Счастье жить», 1999–2000.  
*Холст, смешанная техника*



Армянские праздники. Рождество, Богоявление, Крещение Господне.  
Из цикла «Гимны радости». 2019.  
*Картон, бумага, смешанная техника*



Плоды. Из цикла «Стрела, летящая точно в цель». 2019.  
*Картон, бумага, смешанная техника*

## «Вот все входят в храм...»

*О романе Сухбата Афлатуни «Великие рыбы»  
размышляют Геннадий Калашников и Ольга Балла*

*Геннадий Калашников*

### Камо грядеши?

Книга Сухбата Афлатуни «Великие рыбы» — своего рода панорамная история христианства от его зарождения и буквально до наших дней. И рассказана она в жизнеописаниях (хочется сказать — в житиях) его подвижников и праведников.

*Великие рыбы* называет этих людей автор.

Без некоторых пояснений не обойтись.

Почему рыбы, да ещё великие? Ихтис в переводе с греческого — рыба. А рыба стала тайным символом раннего христианства, скрывавшегося от преследований власти, таившегося подобно осторожным рыбам в глубине.

Вот краткая справка: «Глубокий смысл скрывается в том, что “ихтис”, в своем исконном начертании выглядящий как «ΙΧΘΥΣ», является древним акронимом, в котором кратко определяется имя Спасителя и первохристианская вероисповедная формула. Каждая её буква есть не что иное, как первая литера греческих слов — Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ в переложении на русский язык обозначающие — Иисус Христос Божий Сын Спаситель».

Что нового можно сказать об истории христианства? — скептически спросит иной читатель. Ведь об этом написаны сотни книг — от серьезных исследовательских работ до популярных переложений.

Всё верно. Но тема такова, что всегда будет привлекать к себе и ученых, и писателей, и людей, интересующихся историей вообще и историей христианства.

«История иногда ходит кругами, двоясь в именах и судьбах», — пишет автор, как бы указывая на метод своего свободного повествования. А повествование это включает в себя и строгую документалистику, и вольный полет творческого воображения, особенно там, где речь идет о временах, подёрнутых многовековой дымкой времени: «Ночь была холодной, костер у дороги грел слабо. Внезапно Пётр поднял глаза и увидел Его. За спиной темнел крест, нижний конец которого волочился, постукивая, по булыжникам. Пётр приподнялся; стало видно и лицо подошедшего, и венец,

и кровоподтеки. Пламя изогнулось от ветра и снова распрямилось, пуская в ночное небо искры».

Многогранность книги, её полифоничность, многомерность ещё и в том, что не только известные люди — мученики и страстотерпцы — появляются на её страницах. Здесь нашлось место и для незаметных подвижников, скромных праведников, самой надежной опоры веры и церкви.

Практически целая повесть посвящена ткачихе Марии Даниловой из Гаврилова-Яма, обычной прихожанке, попавшей в жернова сталинских репрессий. И здесь автор прибегает к строго выверенному документальному письму: «Место называлось Гаврилов-Ям. Городом он сделается в 1938 году, Мария Фёдоровна этого события уже не застанет. А когда перебралась сюда, это был ещё поселок, хотя и крупный, и от Ярославля недалекий. Посреди поселка протекала та же, что и в Ярославле, речка Которосль...»

Мария Данилова скончалась в 1946 году в одном из исправительно-трудовых лагерей и годы спустя была причислена к «лику новомучеников и исповедников». Автор подробно, с подлинным художественным мастерством воссоздает её жизнь (и снова хочется сказать — житие), приметы времени, в котором она жила. Обычная судьба, обобщенная до символического величия.

То же можно сказать и о проникновенном повествовании о митрополите Алма-Атинском и Казахстанском Николае.

Как видим, эта книга не только о зарождении христианства, о людях, стоявших у его истоков. Её звучание гораздо шире. Имена библейских персонажей и римских императоров, Вольтера и Екатерины Великой, митрополита ростовского Арсения, старца Феодора и его племянника — адмирала Фёдора Ушакова, истории их деяний, удивительных и трагических изломов судьбы говорят о вере и верности, о связи времен и культур, о единой ткани человеческой истории. Мы все в реке истории, она творится, свершается и в ограниченных сроках нашей жизни, но мы, несмотря на краткость, конечность нашего бытия, причастны к ней, и в этом смысле бессмертны.

Это лейтмотив книги, и он звучит на всем её протяжении, пересказывает ли автор библейские истории: «Что было дальше, хорошо известно. Ревекка напоила слугу, а потом его верблюдов. И стала женой Исааку, и родила ему двух близнецов, Исава и Иакова...», апокрифические сюжеты о деяниях апостолов Петра и Павла, повествует ли о днях нынешних, о той же Марии Даниловой или о патриархе Тихоне, он пытается — и на мой взгляд удачно — воссоздать атмосферу времени, передать её в неброских, но точных деталях. Пески и зной Иудеи, стужа и снега Колымы, руки самаритянки, подавшей воды чужестранцу у колодца Иакова, и натруженные руки ткачихи Даниловой, московский юродивый Иоанн Большой Колпак и пушкинский Николка Железный Колпак из «Бориса Годунова»...

Сухбат Афлатуни, как уже отмечалось, свободно обращается к событиям истории как далеких веков, так и времен сравнительно недавних. Легко и естественно включает в текст свои собственные воспоминания, что придает книге особую задушевность и открытость, щедро цитирует самых разных авторов: от полузабытого поэта Фёдора Глинки до Ильфа и Петрова.

Всё это складывается в причудливую и органичную мозаику, где каждый фрагмент перекликается со всеми остальными, дополняет и подчеркивает общую гамму. Ещё это напоминает строго выверенную систему зеркал, отражающих друг друга, создающих непрерывную перспективу от дней нынешних ко временам почти мифическим.

И, разумеется, книга обращена к нам, людям, живущим в своем, не менее сложном, времени. Ведь не просто же так автор пересказывает историю христианства и жития его подвижников. «Камо грядеши?» — куда идёте? — спрашивает нас эта книга,

её внутренний посыл, заставляющий читателя задуматься над тем, что нас объединяет с прошлым, что ждет в будущем.

Книга начинается со сцены у колодца и этой же сценой заканчивается. Роман изящно закольцован сюжетом о женщине, у которой прохожий иудей попросил пить:

«Иудей не просто обратился к ней, но попросил о помощи.

— Дай мне пить.

Да, конечно, это был не просто иудей. Не просто галилеянин. Не просто странник, сидящий в тени. Но самаряныня этого пока не знала...»

Вера, словно чистая холодная вода, утоляет жажду души.

*Ольга Балла*

## И они плывут

О том, что «Великие рыбы» — роман (ну пусть даже «экспериментальный», как с самого начала предупреждает нас аннотация к книге), догадываешься далеко не сразу. По существу, понимаешь это только тогда, когда добираешься до последней главы того, что поначалу упорно кажется сборником текстов — да, несомненно объединённых некоторыми общими интуициями, но тем не менее — сборником, скорее, эссе, чем рассказов. Вообще жанровая природа составивших книгу тридцати пяти глав (случайно ли это число? символизирует ли оно что-нибудь?) — сложная, колеблющаяся, о чём мы ещё скажем; рассказов в строгом жанровом смысле здесь не так уж много (такова, пожалуй, «Фотина», таковы «Вера и другие»...). Разножанровость, разностилье, даже разноинтонационность их, пока читаешь, наводит даже на мысль о том, что перед нами — что-то вроде колонок в некоем, допустим, религиозном издании, отданных на вольную волю их автора, задача которого — придерживаясь в целом тематических рамок, быть как можно более разнообразным и сказать при этом как можно больше.

Но это всё, повторяю, лишь до тех пор, пока не дочитаешь до самого конца — и не увидишь собственными глазами: конструкция замкнулась. Она (казавшаяся рыхлой, рассыпающейся, почти случайной) была на самом деле продуманной. В каком-то смысле даже выстроенной. И да, это именно роман — хронологически последовательное осуществление одного сюжета.

Слово «осуществление» — а не «развитие», как подсказывает привычка, — тут напрашивается неслучайно. Развития — с классическими завязкой-кульминацией-развязкой, с нагнетанием напряжения и последующим его сбросом, с постепенно разрешающейся интригой, с достижением к концу состояния (чего бы то ни было, кого бы то ни было), отличающегося от исходного, — тут, строго говоря, нет. Есть существование вечного в переменчивых условиях времени.

А вот конфликт... конфликт как раз есть, он — показывает автор — сквозной, пронизывающий все века и, пока мир стоит, неустранимый: между миром и духом, между временным и вечным, между мирским и священным. В том, что (Кто) одерживает верх, у автора сомнений нет, каков бы ни был исход отдельных эпизодов этого конфликта на земле (исход трагичен почти всегда; в значительном большинстве своём герои романа — мученики).

В этой своей книге, посвящённой, как сказано опять же в одной из аннотаций, «феномену святости», Сухбат Афлатуни пишет историю христианства в избранных

сюжетах, путешествие его сквозь земные времена — в некоторых особенно значимых, на взгляд автора, остановках. Строго говоря, даже не христианства как такового: после разделения Восточной и Западной церквей повествование сосредоточено исключительно на судьбах православия. Вплоть до XV века дух (а с ним и внимание автора) объёмлет гигантские пространства от Иудеи и Египта до Рима и Константинополя, от Далмации до Дамаска, от Болгарии до Крита, от Грузии до Венеции; после же падения Византийской империи, за редчайшими исключениями (Япония — впрочем, в этом случае речь идёт о русском святом, о святителе Николае Японском; Чехия, Сербия), не покидает пределов России, в том числе и в облике Советского Союза, когда — как в главе о Николае Алма-Атинском — часть её составлял и Казахстан.

Это род священной истории, написанной почти целиком в светских интонациях и выстроенной в хронологической последовательности — от первого столетия по Рождестве Христове до — почему-то — середины XX века: последняя дата действия как такового — 25 октября 1955 года, день смерти митрополита Алма-Атинского и Казахстанского Николая (случаются и отступления во времена более поздние, в том числе совсем недавние, но это именно отступления). На этом земная история прерывается, — чтобы вновь возвратиться в иудейскую пустыню, к самарянке Фотине, только что говорившей с Христом и задумавшейся о том, что это было. Без малого два тысячелетия умещаются в несколько мгновений: между тем, как Иисус обратился к самарянке, и моментом, когда она задумалась об этом.

«Сколько времени прошло?» — «День успел поблекнуть, жара — слегка ослабеть; на кустарнике, камнях и пыли лежало уходящее солнце. Стрекотали кузнечики».

Может быть, вся эта двухтысячелетняя история ей вообще приснилась? Может быть, и мы ей снимся?

Сюжеты — по преимуществу биографические... скорее, житийные, поскольку речь идёт о земной жизни святых (иногда и о посмертной их судьбе); почти все главы названы их именами (исключения четыре: «Савваиты» — христиане-отшельники, принявшие в своей лавре Саввы Освященного под Иерусалимом мученическую смерть от бедуинов в VIII веке, «Лавра» — краткая, в отдельных эпизодах, история Троице-Сергиевой Лавры, объединённая с историей отношений с нею и с православием самого автора; «Династия» — здесь героиней оказывается целая династия Романовых от воцарения Михаила — через расстрел царской семьи в 1918-м и причисление их к лику святых в 2000-м — до «разных юбилейных действ, конференций и выставок» в год четырёхсотлетия династии, и «Пустынь» — кратчайшая история Оптиной пустыни от возникновения в XIV веке до восстановления в конце XX). В соответствии с этим на каждую главу приходится, как правило, по одному герою, но исключения есть и тут: вторую главу делят меж собой апостолы Павел и Пётр (в таком именно порядке), третью — «Вера и другие» (под таким названием автор объединил замученных императором Адрианом во II веке Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию. Может быть, потому, что Вера погибла первой), седьмую — святые Венедикт и Схоластика, десятую — святые Феодор и Феоктиста, сын и мать, двадцать шестую, «Феодор и Феодор» — два Феодора, оба Ушаковы — дядя и племянник, монах и флотоводец, оба святые; а глава пятнадцатая, озаглавленная единственным именем «Пётр», объединяет двух святых Петров: Петра Казанского и Петра Ордынского. В соответствующих главах не всегда действуют — или хотя бы присутствуют — сами герои. Так, глава о Николае Чудотворце — совсем не о нём, к моменту начала действия (1087) давно уже умершем (жил он, напомним, в III—IV веках), а о перенесении его мощей из Мир Ликийских в Бари; в главе об Илье Муромце, он же святой преподобный Илия Печерский (первый русский герой книги, кстати), рассказывается главным образом история его почитания и вообще восприятия его образа (вплоть до антирелигиозной оперы-фарса Демьяна Бедного). А главу «Вукашин и другие»



населяет множество сербских мучеников за православную веру, убитых хорватскими усташами в концлагере Ясеновац и за его пределами; кроме зарезанного ясеновацким надзирателем человека по имени Вукашин «из деревни Клепац», о котором не известно ничего, кроме того, что перед гибелью он трижды отказался прославить поглавника Анте Павелича, остальные безымянны — кроме жертв, перечисляемых просто списком: фамилия, имя, годы жизни, — а список так велик, что вынужденно ограничивается фамилиями на букву «А»...

На образ же Великих рыб, вынесенный в заглавие, навела автора одна из героинь, мученица Иулиания. «Шел некий крестьянин вдоль Тверцы, неподалеку от города. Глядь, белеет что-то в водах, вроде рыбы великой. Пригляделся и обмер. Тело женское в светлых одеяниях и с ангельским ликом против течения плывет, вдоль берега. Без рук и без ног». Вот и все герои его плывут по небесной реке, «ни боли от ран, ни гнева на убийц своих не чувствуя».

Автору слишком многое надо было сказать — и слишком много разного, даже в пределах каждой из глав, — в каждую, небольшую, уместить как минимум несколько десятилетий — а иной раз и столетий; хотя бы обозначить большие тенденции. Сама тема ломает рамки, автор же не слишком их и выстраивает. Необходимость уместить два тысячелетия — пусть в очень избранных сюжетах — в обозримый объём (для романа, кстати, очень скромный — всего-то триста с небольшим страниц) сама по себе приводит к тому, что чаще всего получается то сжатый конспект, концентрат возможного текста, и даже не одного; почти план того, что можно бы написать, окажись больше времени и места; то энциклопедическая статья, разве что свободная от справочного аппарата и вообще от всяких академических обременений, — просто перечень фактов; а то и классический рассказ с диалогами и внутренними монологами, как, скажем, в случае главы «Вера и другие». Жанр, избранный на сей раз Сухбатов Афлатуни и начерно обозначенный как роман, вообще-то сложный, не сложившийся ещё как следует, поэтому постоянно видна разнородность его компонентов. Мы найдём здесь даже сценическую экспликацию воображаемого спектакля, в которой подробно расписывается, что и как должно быть показано, как должны быть одеты актёры, как расставлены по сцене, как устроить освещение... очень интересно, кстати, — в главе о митрополите Арсении и взаимоотношениях его с императрицей Екатериной (и это ещё помимо обилия исторических сведений, уместяемых в ту же главу). Мы найдём там элементы и эссе, и личных воспоминаний («...В Риле я оказался в августе 2018 года; сюда привезли нас организаторы конференции, посвященной русско-болгарскому историку и мыслителю Петру Бицилли. Помню пронзительное чувство радости и покоя, охватившее буквально на входе в монастырь: близкое испытывал лишь в Троице-Сергиевой лавре...»), и даже нечто подобное сценарию фильма, где происходящее расписывается буквально по кадрам, с указанием на требуемый характер изображения:

«Вот все входят в храм. Духовенство переоблачается: белые одеяния меняются на алые, пасхальные.

Патриарх выходит к народу.

Он видит их. Давно уже видит их. Они стоят чуть в стороне и ждут. Султанская полиция — чауши. Вокруг них, несмотря на обычную пасхальную толчею, пустота. Люди жмутся в стороны.

Патриарх поднимает чашу. Он уже всё понял. Да, Господи. Да, он готов.

Они дали ему дослужить: таков был приказ.

Верующие расходились. Пальба давно прекратилась, небо светлело.

Чауши спокойно дождались, когда патриарх и остальные архиереи, сослужившие ему, выйдут из алтаря. Один из чаушей, по виду главный, подал знак.

Дальше изображение становится нечётким».

Афлатуни-художник (чтобы не сказать — Афлатуни-беллетрист; он не беллетрист, он гораздо глубже и тоньше) не то чтобы борется с Афлатуни-проповедником, Афлатуни-агиографом — цели-то и ценности у них общие, — но им явно тесно в одном пространстве, и художник то и дело уступает агиографу и проповеднику. Впрочем, кажется, по мере продвижения повествования во времени беллетризация нарастает, в текстах появляется всё больше художественных компонентов... А ведь есть ещё Афлатуни-историк, Афлатуни-публицист...

Не довольствуясь разнообразием собственных голосов, а иногда и голосами своих героев (например, в главу о Николае Японском включаются объёмные фрагменты из его дневника), автор — изредка — включает в текст стихи разных, видимо, важных для него поэтов — от Фёдора Глинки до Поля Верлена (в собственном его переводе), и таким образом роман обретает жанровые черты ещё и персональной авторской записной книжки.

Всё это, собранное воедино, очень интересно, ярко, живо, но цельность удерживает с трудом.

Распределение внимания по двадцати векам христианской истории оказалось — тоже, надо думать, поневоле — весьма неравномерным. Более всего внимания досталось двум столетиям: XVI (о нём — четыре главы: о сербской святой Ангелине, о Соломонии Сабуровой — в монашестве Софии, о святителе Германе и о юродивом Иоанне) и особенно — XX (о нём — целых пять глав).

Прихотливым оказался и выбор героев. Глупо задаваться вопросом, почему автор кого-то выбрал, а кого-то нет; почему вообще оказался так обделён вниманием XIX век; почему из всех новомучеников XX века романист избрал только царскую семью и безвестную Марию Данилову — о ней отдельная глава, а, скажем, ни Сергию Радонежскому, ни Серафиму Саровскому, ни Ксении Петербургской, ни Герману Аляскинскому, ни Филарету Московскому, ни Иоанну Кронштадтскому, ни Матроне Московской собственной главы не досталось; почему в одних случаях говорится о жизни героя в целом, от начала до смерти (как в случае патриарха Тихона), в других — в фокус попадает всего один эпизод из неё, а остальная жизнь — не то чтобы вся, но в основных штрихах — рассказывается как (беглый, плотный) комментарий к этой сцене (в случае Николая Японского, например, это сцена открытия памятника Пушкину в Москве в 1880 году). Ну не академическое же исследование, в конце концов, не энциклопедия, а художественный текст, кто волнует автора, о том он и пишет; что чувствуется ему важным, на том он и фокусируется. И всё-таки эта неравномерность, наряду со стилистической и жанровой неоднородностью, настолько велика, что, кажется, цельности текста она тоже ощутимо мешает.

Но главный герой в романе, конечно, есть. Видим мы Его только в первой (она же и последняя) главе. Во всех остальных Он присутствует незримо.

Кстати, о числе глав, о том, символизирует ли оно что-нибудь. Если вычтем из него главы первую и последнюю — которые, в сущности, — одна, содержащая историю Фотины, но так ли важно? — вычтем их — и останется тридцать три. Количество земных лет Христа.

*Александр Чанцев*

## Теория вечности, в будущем и прошлом

*Этот выпуск нашей рубрики дает возможность рассмотреть некоторые теории будущего — из прошлого (теории космистов) и из настоящего (фантастический роман и две работы современных русских теоретиков). А также мы возьмем одну теорию того неприглядного настоящего, что, возможно, и подталкивает к мечтаниям о будущем.*

*Впрочем, ставки всегда, конечно, гораздо выше — к мечтам о будущем человечество приводит в пределе осознание собственной смертности и стремление ее преодолеть.*

Я думал о некрополе в глобальном смысле, о пристани для Хароновой ладьи, о том, чтобы вернуть мёртвым значительность. Культура зиждется на почитании умерших; она исчезает с разрушением могил, точнее, таковое разрушение свидетельствует, что дело идёт к концу.

*Эрнст Юнгер. Проблема Алладина*

### *Мёртвым нельзя тупить*

**Йен МАКДОНАЛЬД. Некровиль: Роман / Пер. с англ. Н.Осояну. — М.: АСТ, 2023. 768 с.**

В этот раз рубрику о книгах нон-фикшн мы позволим себе начать с самого что ни на есть фикшна. Ведь книга весьма титулованного ирландского фантаста дает нам некоторые весьма любопытные штрихи к представлениям даже не о воскрешении, но о жизни мёртвых. В его романе «Некровиль» — и примыкающих к нему рассказах, вошедших в этот массивный том, — посмертная жизнь стала почти обыденностью. Любого человека после всех видов травм — только если не применялись определенные крайне разрушительные (но всё равно компактные) заряды, что называется тут «настоящей смертью», — можно воскресить с помощью нанотехнологий. Труп или его фрагменты помещают в так называемую колыбель Иисуса — тело сначала постепенно растворяется, затем собирается заново. Это происходит в Домах смерти, а соответствующую и даже превышающую силу нынешних ТНК власть приобрели корпорации, курирующие этот и сопутствующий некробизнес, — почти как у нас в 90-е похоронный бизнес сулил сногшибательные доходы — вокруг чего отчасти и завязан весьма сложный сюжетный клубок.

Так почему же «почти обыденность»? Собственно, я и предлагаю этот роман к рассмотрению — кроме его лихого сюжета, потрясающих технологических выкладок, заставляющих вспомнить книги Лю Цысиня<sup>1</sup>, густого амбьянса нуар-детектива и прочих несомненных достоинств — именно потому, что здесь мы сталкиваемся с настоящей повседневностью и психологией воскрешённых<sup>2</sup>; будет дано как их самовосприятие, так и отношение к ним настоящих живых («мясо», на бытующем сленге). И тут будет множество нюансов, актуализирующих эту тему. Главное же, пожалуй, что отношение к ним несет явные обертоны сегрегации. Да, глава крупнейшей корпорации «Теслер-Танос» — мертвец, его наследник-сын воскрешён, это юридически законно. Но... В целом мёртвые поражены в правах. Они — живые и одновременно как бы не живые. Здесь нет полного конституционного списка прав и обязанностей, но — прав у них явно меньше. Кроме того, в мире, где смерти практически нет<sup>3</sup>, мёртвые — точнее, секс с теми из мёртвых, кто не прошел очередной тюнинг, — становятся источником болезни, которая действительно может убить. И символично, как убивает эта болезнь: сначала человек опять же проходит через череду метаморфоз, его тело модифицируется, вырастают даже — гиперчувствительные (их задействуют в сексе, вот вам и «любовь и смерть») — иглы. Это рифма — и расплата? — за те метаморфозы, которые воскрешаемый проходит в воскресительном<sup>4</sup> чане, вообще в процессе воскрешения? Такое воскрешение наоборот? Впрочем, кроме болезни героя, тема эта не педалируется.

Тема метаморфоз в книге, как мы тут же и убедимся, тотальна, потому что «в мире, где оживают мёртвые кинозвезды, растут здания, машины меняют формы, а одежда — текстуру и цвет», люди могут превратиться даже в камень. Сама же идея воскрешения, нарастания плоти обратно на кости не нова. От известной сцены собирающегося ртутopodobного металла из будущего в фильме «Терминатор» до смерти жены Чжуан-цзы: «Я понял, что она была рассеяна в пустоте безбрежного Хаоса. Хаос превратился — и она стала Дыханием. Дыхание превратилось — и стало Телом. Тело превратилось — и она родилась. Теперь настало новое превращение — и она умерла. Все это сменяло друг друга, как чередуются четыре времени года. Человек же схоронен в бездне превращений, словно в покоях огромного дома. Плакать и причитать над ним — значит не понимать судьбы. Вот почему я перестал плакать». Те же вопросы прав живых и прав мёртвых рассматривались Лао Цзы, причем с акцентом на естественное чувство равенства: «Человек же схоронен в бездне превращений, словно в покоях огромного дома». Цель — освобождение от телесности: «Преисполненные жизнью люди вверху постигают принципы Неба, внизу созерцают нормы Земли. Поэтому они смогут достичь освобождения от своей телесной формы»<sup>5</sup>. То есть можно предположить, живые и мёртвые равны в той мере, что одинаковым образом должны уходить от телесности. Современный мир настолько же лишен гармонии и стремления к гармонии, что оставляет в телесности не только живых, но и пытается наделить этой телесностью и мёртвых. Так и подавляющее, увы, большинство идей современного жития и воскрешения центрированы, прежде всего, вокруг жития и воскрешения тела, лишь тела<sup>6</sup>. Тюнинг и апгрейд формы без заботы о начинке — потому так и неуютно воскрешенным мёртвым?

Мёртвые тем временем живут (да, это так), работают, функционируют и наслаждаются жизнью. Однако жизнь их — не совсем жизнь. Даже говоря про сроки их бытия — да, они не ограничены, никаких лимитов не предвидится, но не раз звучит фраза, что воскрешение всё же не равно бессмертию. Видимо, в недалеком будущем (кстати, легко рассчитать — мертвячка, верная возлюбленная главного героя, делится с ним, что ей 120 с чем-то лет, в ее детских воспоминаниях смутно отзывается имя Рейгана) не могут досконально предсказать очень далекое будущее? С воскрешением «что-то не то» — оно накладывает отпечаток не только на самих воскрешённых, делегируя их в странноватый лимб жизни после смерти, но даже и с целой цивилизацией,

испорченной — как нынешним комфортом, безопасностью и вседоступностью сервисов? — этой возможностью: «Понять смертность — значит быть взрослым. Подростки не могут умереть. Подростки живут вечно. Взрослые умирают, и осознание этого их трансформирует. Там, — она ткнула большим пальцем в сторону далеких огней большого города, — обитает подростковая культура. Поскольку мы видим, как нанотехнологии воскрешают людей из мёртвых, мы думаем, что сможем жить вечно, и поэтому больше не верим в нашу смертность. Мы живем так, будто никогда не умрем. Мы регрессируем. Становимся цивилизацией подростков. Но постулат Уотсона — дескать, в первую очередь нанотехнологии позволят подарить нам бессмертие — не доказан. Следствие Теслера — совсем другое дело. Мы не получили бессмертия. Мы получили воскрешение. Это не победа над смертью. Мы нашли нечто другое по ту сторону смерти — оно звучит, пахнет, имеет вкус, вид и текстуру жизни по эту сторону, однако единственный способ проверить, так ли оно на самом деле — пройти через смерть. Надежда на бессмертие — всё, о чём думают живые. Я могла бы сказать тебе, что моя продолжительность жизни, за исключением довольно серьезных катастроф космического масштаба, теперь сравнима со Вселенной. Я чувствую, как перемещаются континенты...»

Перед нами опять тема трансформации, на этот раз психологической. В инфантилизме же часто и давно обвиняют японское общество, далеко шагнувшее в будущее по мягким дорожкам бытового комфорта, безопасности и социальной предсказуемости и защищенности. Впрочем, инфантилизм нынешнего японского общества с его анимэ, мангой, модой на «детские» наряды поп-звезд (айдору), подростковую сексуальность и даже на эстетику мультфильмов в рекламе, общественных объявлениях и пр. предстает, по сравнению с провозглашаемым в рассматриваемых далее книгах путём детства, своего рода негативным инфантилизмом, корни которого, прежде всего, в эскапизме. И нынешние заигрывания с бессмертием (от возможности завещать свой блог и даже размещать в нём посты после смерти до возможности общаться с генерируемым искусственным интеллектом близким умершим), конечно, так же разновекторны с устремлениями космистов, как искусственный рай и подлинный.

Но это другой и долгий разговор. Тут же, с ортодоксальных уже позиций, можно было бы сказать, что человек, все люди вообразили себя равными Богу, люцифериански вознеслись и будут низвергнуты. Они наказаны и так. Нет, не громом с небес и изгнанием из Эдема, а банальнее, просто недостатком технологии. Или всё же тем, что не измеряется ими и зовется любовью, памятью, например. Речь о «текстуре жизни» после жизни. Да, воскрешённые, как подчеркивается в «Некровиле», могут жить, есть (и у них отличный аппетит) и заниматься любовью (как в классических нуарах, романтическая линия тут не обделена вниманием). Но сказано, что им не дано проносить в новую жизнь любовь: «Любовь не может преодолеть смерть, Элена осознала эту горькую истину лишь теперь, а ведь в доме на холме, в постели с Солом, ей казалось, что между ними есть что-то общее. И всё-таки любовь способна преобразиться в то, что предназначено для вечности», — всё неоднозначно, опять преобразование... Вероятно, любовь и иные чувства не полноценно достигают с воскрешённым телом будущего, ибо не полностью доносятся до нового существования и воспоминания. Да, они могут, как в том фантастическом же фильме о будущем, «вспомнить всё», они и помнят. Есть даже сентиментальная опция-услуга от этих некро-контор взять в следующую жизнь «пару мелких вещей из прошлого». Но в целом — им рекомендуется забыть прошлую жизнь поскорее. Воскрешённые — здесь мое сравнение, но оно, кажется, оптимально — как приёмные дети: они могут помнить, сожалеть, плакать ночами о неизвестных бросивших их родителях, жестких и тоскливых буднях детского дома, но лучше всё же забыть это, отдаться новой жизни в новом доме, с любящими приёмными родителями. Так и тут, только грустнее — воскрешённые оказываются, по Джиму Моррисону, «into this world we've thrown»,

предоставлены сами себе в непростой как повседневно (на улицах бушуют банды — и слабо отличимые от них охранные компании), так и экзистенциально ситуации. Кстати, по поводу этой строчки из канонической песни Riders on the Storm мне встречалось, что здесь американский проклятый поэт отсылает к концепции «вброшенности» Хайдеггера...

Мёртвых — есть в книге и совсем фёдоровские строчки, что воскрешены будут все поголовно («Воскрешение мертвецов. Всех и каждого, отныне и до конца Вселенной. Нельзя допустить, чтобы ты владел этим в одиночку. Даже у Бога не было монополии на вечную жизнь»), — статистически никак нельзя назвать меньшинством, но всё равно они существуют скорее в качестве an oppressed minority<sup>7</sup>, угнетенного меньшинства. На первых порах было вообще худо («...Его руки связаны законом, который гласит, что мёртвых не существует. Даже его собственного сына? Даже его собственного сына»<sup>8</sup>). Со временем стало лучше, мёртвые признаны, права их расширены, но... И вот в развивающемся мире «Некровиля» цикле рассказов «Дни Соломона Гурски» мёртвые готовятся поднять восстание за свои права. Тем более что стигматизированные и лишённые оказываются в итоге всегда свободнее тех, кто сам не лишён прав и накладывает ограничения на других — им как минимум нечего особо бояться: «Истинная свобода ужасает. Ты по-настоящему свободен, только когда нет никаких ограничений: во времени, пространстве, энергии<sup>9</sup>. Мёртвые — единственные по-настоящему свободные люди. Я аплодирую Свободным мертвецам<sup>10</sup>, потому что они используют свободу, чтобы раздвинуть границы пространства и времени. Они живут как свободные существа; они заслужили и постоянно ценят свою свободу. Большинство прикованных к земле мертвецов неотличимы от своих мясных собратьев».

Есть и более мелкие — и тем более характерные — ремарки вроде того, что «мёртвым нельзя тупить. Поступить умно лишь однажды — привилегия мяса». Впрочем, в этом мире — как и в том, оказывается, — тупить нельзя и живым.

## *Мечтать разнузданно*

**Владислав СОФРОНОВ. Положение мёртвых. Ревизионистская история «русского космизма». — М.: V-A-C Press, 2022. 384 с.**

«Когда мне в голову впервые пришла мысль о том, что в далеком будущем человечество — уже свободное, живущее без государств, классов и религий <...> — по чисто моральным (не теологическим, не мистическим) причинам задумается о необходимости буквального, телесного воскрешения прошлых поколений... <...> Только в страшном сне или в pulp fiction трезвомыслящий атеист может столкнуться с идеей воскрешения», сказано на первых страницах предисловия к этой книге, столь тесно примыкающей к предыдущей, что даже странно было бы разделять этот невольный совместный разговор и рассматривать их порознь.

Говорить же об этой книге сложно, поскольку существует она в разных регистрах. Осмысления космизма со своих индивидуальных позиций — да, здесь, слава звёздам, не новое изложение идей космистов, ибо их было в последнее время даже достаточно (к упомянутым в книге работам С. Семёновой и А. Гачевой я бы добавил не проходную работу Б. Гройса<sup>11</sup>). Кроме того, несколько пространное окончание книги занимает собственный авторский манифест. Плюс — довольно необычный подход (Софронов скрещивает марксизм, адептом которого очевидно является, с идеями Фёдорова). Плюс — весьма личный, эмоционально заряженный подход («темнеет в глазах от...» негожих интерпретаций).

Разбора и пересказа идей космистов тут действительно нет, есть — вычленение необходимой автору сути. «Бог-Творец создал не только “слепую природную силу”, но и нас, тех, кто потенциально способен ею управлять и тем самым уменьшать количество страдания в мире, потому что главный долг христианина — регуляция данной природной силы для превращения ее в “живоносную”». Это один из основных посылов, с которым можно согласиться ли, спорить ли (у христианина, думаю, вызвала бы вопросы степень участия человека в преобразованиях божественного), но принять можно. Мы и примем. С той оговоркой — у Софронова она идет в пробор, но она важна, — что борьба за идеальное мироустройство в нашем неидеальном мире приводит зачастую к гекатомбам жертв. Вот и замечает автор — с отсылкой к сериалу 2019 года «Пришельцы из прошлого», кстати, — что «если бы сегодня воскрешение стало каким-то образом возможно, то воскресшие воспринимались бы как ещё одна группа “мигрантов”, которую надо как максимум отправить обратно на родину, как минимум — обособиться от них»<sup>12</sup>. См., как говорится, предыдущую книгу. Скорее всего — да и речь о недалеком воскрешении мёртвых не идет же пока, — эти благие потенции будут реализовываться в техническом прогрессе. «Может быть творческий труд электрона, клеточки, творческий труд небесных тел», — цитирует Софронов близкого ему космиста Валериана Муравьёва. О том, к чему приводит интенсифицированный, разогнанный и разогнавшийся (известное наблюдение о количестве открытий и прогресса в позапрошлом, прошлом и нынешнем веках по сравнению с предыдущими<sup>13</sup>) научный прогресс без духовной составляющей (гуманистической, нравственной, можно добавить любой эпитет, мне наиболее симпатичен в данном случае термин «экологический» в широком его понимании), мы все видели во времена ковида. Пишет об этом в своих манифестарных главах заключения и автор.

Из других уроков, извлекаемых и предъявляемых автором у космистов, — и параллелей с «Некровилем»: «Всегда возобновляемые попытки вернуть к жизни умерших — это не борьба со смертью как таковой (вечности не существует, так или иначе всё возникшее рано или поздно исчезнет), а с нереализованностью, с отчуждением человека от той жизни, которую он жил и которая кончилась в миг смертной муки прежде желания и необходимости умереть»<sup>14</sup>. Опять же совершенно риторический и горький вопрос: обретут ли свою реализацию воскрешённые, если они не реализовались в жизни, в этом — во всяком случае, я воспринимаю это так — экзамене перед жизнью вечной? Героиня «Некровиля» работает, например, проституткой...

Кроме же этих «капитальных», как любят говорить герои Достоевского, посылов, пишет автор о многих и подчас весьма неожиданных аспектах, чем книга безусловно и ценна даже для искушенного в Фёдорове-Циолковском-Богданове читателя. Фёдоров и Ленин, вообще космизм и марксизм, восприятие Троицы, деятельная жизнь после воскрешения, изложение сути учения Муравьёва — такова тематика. Отдельно пишет Владислав Софронов о том, насколько Фёдоров (он считает его всё же предтечей — и чуть ли не ретроградом и мракобесом, о чем позже) и Муравьёв были правы в своих прозрениях. 3D-принтеры, выращивание человеческих органов, клонирование и очень близкий подход к воскрешению вымерших видов животных. «Но самый показательный и поразительный пример прогностической мощи концепции Муравьёва — это текущее направление развития биологических наук, связанное с реконструкцией прошлого. Благодаря их стремительному прогрессу, в котором особенно надо выделить открытие генетического кода (ведь в определенном смысле и оно было предсказано Муравьёвым, хотя и понятие “код” и “число” не совпадают, тем не менее код может быть точно переведен в число), уже сегодня активно обсуждается вопрос воскрешения некоторых видов живых существ (чаще всего речь идет о мамонтах<sup>15</sup>). Происходит именно то, что 100—150 лет назад было выражено

Фёдоровым на языке христианской герменевтики, а Муравьевым переформулировано на философски осмысленном языке “теории множеств”».

И здесь никак нельзя обойти крайне неловкий момент. В предпоследнем выпуске этой рубрики<sup>16</sup> я писал о сборнике статей Э.Ильенкова и, в частности, поражаюсь имплицитно (да даже эксплицитно, учитывая эмоциональность изложения!) выраженным у него альтернативно религиозным взглядам — пассаж о том, что человечество может преобразовать землю, а если и нет, то человечество уйдет, пожертвует собой ради будущих цивилизаций, тем более что они предположительно существуют в космосе уже сейчас. Ровно эту же статью и цитату разбирает и Владислав Софронов. Находит он и — уже более притянутые, я бы заметил, — текстологические пересечения у Фёдорова и Ильенкова. Например, касательно темы отцов: «Отец очень часто очень долго живет рядом со своими сыновьями. А если его в наличии и нет, то он, разумеется, когда-то был, то есть в категории “наличного бытия” непременно должен мыслиться»<sup>17</sup>. Копирайт безусловно принадлежит ему — хотя бы потому, что его книга вышла в 2022 году, готовилась очевидно раньше, а сам разбор Ильенкова у него гораздо фундириваннее. Правда, если меня интересовал в этом пассаже из Ильенкова религиозный, прежде всего, посыл, то Софронова — марксистский, в его сплаве, выходе на космистские горизонты ожидания.

И тут автор заходит далеко. Ильенков для него — в синклите и триумвирате, третий главный космист после Фёдорова и Муравьева! А «все остальные второстепенны, вне зависимости от того, как часто слово “космос” появляется в их сочинениях» (маркером тут выступает уж, скорее, слово «бессмертие», я бы сказал, ибо освоение космоса носило прикладной характер — туда лишь предполагалось переселять увеличившееся в результате воскрешения предыдущих поколений человечество...).

Последним, после Ильенкова, героем этой книги становится В.Беньямин. Нет, он в ряды космистов не рекрутируется, но разбираются различные его подходы к истории (аппендиксом-аттачментом к книге даже републикован его текст «О понятии истории»), марксистский, конечно же, больше всего.

Но гораздо интереснее Беньямина — в конце концов, это все хорошо известно, а клеевско-беньяминовский ангел истории *Angelus Novus* имеет все шансы скоро стать, прости Господи, таким же избитым и скрипящим песком на зубах мемом, как те рукописи, что не горят, и комната, из которой, по Бродскому, не стоит выходить, — другая даже не тема, а ее поворот, не шоссе, но съезд с него, куда завоз/дит нас ненадолго автор. Это — в связи с Ильенковым — упоминание отдельных персоналий (Г.Батищев с его работой «Деятельностная сущность человека как философский принцип», А.Манеев с работой «Гипотеза биополевой формации как субстрата жизни и психики человека») и анализ трендов советской эпохи. С некоторыми из утверждений, вроде «но главный из этих факторов (краха СССР. — А.Ч.) — неудача (пере)запуска советской демократии, нехватка социализма, а не его избыток» можно поспорить. С иными, скорее, хочется согласиться: «1970-е годы в Советском Союзе оказываются “выделенным” моментом, в котором в последний раз пересекаются “восходящий” (прогрессивный) и “нисходящий” (регрессивный) потоки советского проекта. Это пересечение привело к необычным феноменам, совпадениям и наложениям, результаты которых сказываются и сегодня». Истинно так! Не углубляясь в бездонное море политических и социальных рассуждений, стоит задуматься о ноосферных вспышках и сияниях тех десятилетий, взять просто книги. Во-первых, количество и разнообразие<sup>18</sup> философов в те годы перекрывает знаменитый копирайт Серебряного века с его претензией на расцвет русской философской мысли, во-вторых, сколько и каких потрясающих, разнородных (пласт ленинградской неподцензурной литературы, лианозовцы<sup>19</sup>, южинский кружок и сопричастные ему мистические подполья, пишущие одиночки вроде Владимира Казакова и Всеволода Петрова) и возвращающихся только сейчас<sup>20</sup> авторов тогда писали.



Тем страннее на фоне всех этих разговоров служат украшающие его — подчас, не повсеместно хотя бы — виньетки вроде сокрушённого признания «вся эта книга основана на идеях белых мужчин, преимущественно мёртвых» и прозрений, что «разумным существам необходима спектральная сексуальность, гендерная флюидность космических масштабов, вплоть до опыта ещё неведомых гендеров существ из других регионов Вселенной». Хочется верить, что это всё же такая изощренная ирония: «Тем не менее и Муравьёв, и Ильенков остаются мёртвыми белыми мужчинами (будем надеяться, что, по крайней мере первое, — не навсегда), и поэтому можно только приветствовать ретроактивное и проактивное вмешательство в эту проблематику исследовательниц (а также разумных существ из других звёздных систем)», аминь и исполать! Иначе же у совсем не юного ученого это выглядит как дань нынешним почти цензурным научным догмам и требованиям, вроде того, что он сам же и описывает в связи с работой А.Манеева в 1980 социалистическом году — «первые ее страницы содержат по неперемennomу правилу тех лет ссылки на материалы последнего съезда КПСС, на установочные документы партии и правительства (есть даже ссылка на одну из статей главного советского идеолога Михаила Суслова)».

«Эссе о континуальности», завершающее книгу, между апологией Ильенкова, ведущего, по Софронову, философа всей советской эпохи, и приложением от Бенямина, представляет собой манифест автора. Примыкающий к темам книги, содержащий как яростную критику современности (в частности, тех, кто не верил в антиковидные прививки, но верит во всяких нынешних колдунов, пришедших на смену перестроечным экстрасенсам), так и призывы «на будущее». К сожалению, весьма эмоциональный тон и композиционная валентность затрудняют и суммирование, и даже цитирование этого опуса. Очень здравые мысли там слишком разбавлены разумными существами с гендерно-сексуальными флюидностями и прочими эманациями из совершенно разных областей, хоть Гуссерль, хоть новейший сериал.

Справедливость же общего вектора мыслей автора нельзя не признать и не приветствовать. «Так что сегодня на планете Земля и в радиусе примерно 100 световых лет (так далеко распространились излучаемые нами в мировое пространство радио- и другие электромагнитные волны) от нее звучит оглушительный вопль: кричат от ужаса постепенно умирающие в том лагере смерти, которым является само бытие, орут те, кто хочет заглушить эти крики, вопит каждый из нас, потому что это единственный способ не слышать криков других» (цитирую не из манифеста-эссе, а из разных частей книги). Кричат они не только из-за страха смерти, как думается, но из-за общей порушенности, порочности оснований современного мира. Который нужно исправлять, переделывать от фундамента до крыши, по Фёдорову или кому-то ещё, но нужно, остро необходимо. «Отсюда вытекает, что пришло время безудержно, отчаянно, даже разнузданно мечтать». Ведь «без перехода к более высокой и сложной своей организации, без гармонизации индивидуальных и коллективных настроений (не через стихию рыночного *laissez faire*, а через рациональное согласование, основанное на добровольном и даже приносящем радость сотрудничестве на всех социальных этажах и во всех подъездах) разум на нашей планете, скорее всего, обречен». Полностью согласен, разве что с коррекцией социалистического посыла о рациональности. Она является частью большого целого наряду с прагматичностью, сциентизмом и прочим наследием «разумных» веков после Просвещения. Того целого, что само по себе неплохо, но столько раз — как, да простит меня автор, и социалистическо-коммунистические идеи, — скомпрометировало себя. Что пора уже подумать о новом Возрождении, библихинском Новом Ренессансе, то есть даже не возврате к прежним, примордиальным идеалам, мечте традиционалистов, но полной, тотальной замене парадигм, когда, прежде всего, целеполагание будет строиться не на рационалистическом базисе (сколько раз уже человечеству объясняли, куда идти за светлым будущим, что труд освобождает и прочее, и куда оно в результате сворачивало...), а на духовном,

том экологическом, где человек, мир и Бог живут, соработают и стремятся к единым, новым, целям. Таким же радикальным, как и Фёдоров. Которого автор обвиняет вдруг, так перемежая глубокий разбор, в сексизме и прочем ретроградстве и обскурантизме. Впрочем, у меня сейчас вышло так же сумбурно, а ещё и высокопарно (идеализм как другая сторона медали неточно настроенной мысли, на другой стороне ее модерный цинизм).

Плюса же и партийная окраска призывов измениться — будь это столь любезная автору левая мысль, или правая, игровая этика постмодернизма, или же высокая торжественность традиционализма — сути это не меняет, итог один. Об этом писал еще тот же Агамбен: «Биополитика современного тоталитаризма, с одной стороны, и общество потребления и гедонизма — с другой, несомненно, являются каждый (так в тексте перевода. — *А.Ч.*) на свой лад ответом на эти вопросы. Тем не менее пока не появится новый — то есть не основанный более на *excertio* голой жизни — геополитики, всякая теория и всякая практика будут оставаться в плену безысходности, а “радость жизни”, захваченная политическим, будет омрачена либо кровью и смертью, либо полным безумием, на которое ее обрекает общество спектакля»<sup>21</sup>.

Действительно радикальные перемены чаял космизм. Но, к большому сожалению, человечество задумывается о нем в отдельных книгах, а не в ежедневном делании. Которое могло бы привести и к конкретным целям (бросить бюджеты ТНК и ВПК, перенаправить людские амбиции — прорыв в увеличении продолжительности жизни был бы обеспечен точно), и просто изменил бы существенно саму экологию человека.

Из всего же космизма, справедливо сетует Софронов, в общественном сознании осталась исключительно тема устремленности мыслителей этого направления к космосу. Она же и единственной была «принята к исполнению». Что ж, это так, но тут хочется закончить цитатой из современного автора — а также отослать к его книге, полной ностальгии, горечи о забытых героях и эпохе, но самим фактом своего создания как минимум извлекающей, воскрешающей их из забвения: «Идеями космизма бредили философы Фёдоров, Циолковский, Богданов, и многим современникам казалось, что именно бредили. Мыслителей, говоривших о воскрешении умерших и заселении ими иных планет, считали полубезумными. Однако осязаемая, материальная часть их мечтаний реализовалась в космических ракетах, в “бипах” первого искусственного спутника Земли — серебристого, как “миг-пятнадцатые”. Перейдя в практическую плоскость, космическое дело избавилось от метафизической составляющей — или так только казалось? Советское общество было атеистическим лишь снаружи. По своей сути оно оставалось религиозным. Этого не проговаривалось, но триумф и слава Гагарина носили отчетливо культовый характер»<sup>22</sup>.

### *Патология позитивности*

**Бён-Чхоль ХАН. Общество усталости. Негативный опыт в эпоху всеобщего позитива. / Пер. с нем. А.Салина. — М.: АСТ, 2024. 160 с.**

Модного немецкого философа корейского происхождения можно счесть этаким Бодрийяром на минималках — или же просто найти у него любопытные идеи. Модность его докатилась даже оперативно и до нас — уже четыре изданные книги (правда, тонкие — пишет он такие развернутые эссе).

Представленное эссе касается того, что неизменно касается нас: работы, самореализации, личных потенциалов, самоощущения в пост(пост?)модерном мире. От этого не убежать (разве что в юнгеровский Лес попытаться уйти).

Вспомним, какой список «голой жизни», обреченной на преследования, третирующие и смерть мы приводили из Хана в связи с предположением, что туда

могли попасть и воскрешённые люди. Туда же можем попасть и все мы. Мы же сами себя туда загоняем, добровольно идем на заклятие. «Депрессивный человек — это то animal laborans<sup>23</sup>, которое эксплуатирует само себя, причем добровольно, без принуждения извне. Оно — хищник и жертва сразу». И не стоит думать, что речь тут о клинических случаях, сумасшедших домах Фуко и прочем карательном. Состояние это — скорее обыденность.

О Фуко — от которого Хан отталкивается, не то что свергает с корабля современности, но корректирует с учетом «новых вводных», биополитика стала изощреннее, — автор, кстати, замечает: «Сегодняшнее общество — это уже не дисциплинарное общество Фуко из богаделен, сумасшедших домов, тюрем, казарм и фабрик. Его место давно заняло совсем другое общество — общество из фитнес-студий, офисных высоток, банков, аэропортов, торговых центров и генетических лабораторий». Можно, кстати, и продолжить-экстраполировать: если знаменитый паноптикум Фуко был проектом тюрьмы (рабочего дома), где все заключенные были всегда на виду, обозревались со всех сторон этого хитро сконструированного здания, надзирающая власть же, наоборот, была сокрыта, то сейчас паноптикум внедрен везде — от фитнес-центров, где все занимаются эксгибиционистски, до офисного open space, уже не говоря об абсолютно вездесущих камерах наблюдения в реальной жизни и cookies/системных администраторах/идентификации по биометрии и прочего контроля в жизни виртуальной. Прогресс, так сказать, на лицо, лица — не скрыть<sup>24</sup>, можно его — социальные рейтинги, баны и судебное преследование — лишь потерять.

Хан вводит темпоральную классификацию по принципу соответствующих эпохе недугов. Бактериальная эпоха закончилась с изобретением антибиотиков. Вирусная эпоха — писалось это до ковида, но в данном случае для правоты общих выводов не столь важно — была побеждена благодаря методам иммунологии. «Начавшийся XXI век, с патологической точки зрения, определяется не бактериями и не вирусами, а нейронами». Депрессия, синдром дефицита внимания, пограничное расстройство личности, синдром эмоционального выгорания<sup>25</sup> — угрожающие современности болезни, грубо, но точно говоря, базируются в головах. И это очень похоже на правду — я прекрасно помню, как пару лет назад нельзя было открыть ныне запрещенную соцсеть или быть втянутым в откровенный разговор, чтобы не узнать, что у каждого второго твоего френда биполярное расстройство личности, это было очень модно, самый тренд и шик...

Если раньше болезнь, враг были Другим, Чужим («и даже холодная война следовала этой схеме»), продолжает Хан, то теперь они не только внутри, но и они — это мы. И та же депрессия оказывается порождена не негативом, но «переизбытком позитивности»: «Исчезновение инаковости означает, что мы живем во время нехватки негативности. Хотя нейрональные заболевания XXI века, в свою очередь, и следуют определенной диалектике, это не диалектика негативности, а диалектика позитивности. Они являются патологическими состояниями, которые объясняются переизбытком позитивности». Патология позитивности — так мог бы назвать одну из своих книг, больших эссе, как и у Хана, Чоран!

«На место запрета, приказа и закона встает проект, инициатива и мотивация. Дисциплинарным обществом все еще управляет “Нет”. Его негативность производит сумасшедшего и преступника. Общество достижений, в свою очередь, порождает больного депрессией и неудачника».

Все традиционные устои оказались поколеблены, да и вообще разрушены: «Но позднесовременное Я (Ich) является совершенно изолированным. Религии как танатотехники, которые унимали бы страх перед смертью и вызывали бы чувство долговечности, также отслужили свой век. Всеобщая денарративизация мира усиливает чувство тленности. Она делает жизнь голой». Это еще полбеда. Ведь на их место пришла позитивность, ее призыв к постоянной — на работе, в беге утром до нее,

фитнесс-центре после, в креативных занятиях и хобби<sup>26</sup>, саморазвитии — деятельности во имя постоянных успехов, вечного улучшения показателей. Мне уже приходилось писать<sup>27</sup>, что современное общество уподобляется компаниям и корпорациям с их стремлением к ежегодному, постоянному увеличению прибыли. Но у чисел-процентов подобного увеличения нет предела, соответственно — нет впереди и глобальной цели, а весь процесс очень напоминает повешенную перед носом выючного осла морковку той самой мотивации...

«Больше, лучше, быстрее, эффективнее и т.п. — вот слоган современного человека. В самом деле многие люди, ориентированные на успех, стремятся сделать как можно больше — эффективно работать, активно отдыхать, всё успеть. <...> Такая многозадачность ни к чему хорошему не приводит», — суммирует инвективы к современности Хана в своем предисловии А. Павлов. Хан же сравнивает этот бесценный «скилл» — вспомним нынешние объявления о найме на работу с обязательным требованием «уметь работать в режиме многозадачности» — с навыками первобытных людей или диких животных. «Многозадачность как раз широко распространена среди диких зверей. Этот метод управления вниманием, который необходим для выживания в дикой природе» — найти пищу, поймать и убить ее, есть, следя, чтобы не утащили другие, следить одновременно за своей самкой, агрессивной окружающей средой и т.п. Как тут действительно не вспомнить традиционалистов с их ностальгией по кастовости — и не задуматься, не имеет ли «конкурентные преимущества» тот, кто в гильдии из поколения в поколение умел, к примеру, тачать сапоги и делал это лучше всех, перед затюканным офисным работником, который, отвечая сразу на десяток звонков и сообщений во всех мессенджерах, ещё и «выполняет функционал» пятерых своих коллег разной специализации?

Человек — всё же я думаю, не просто так, с голого листа, а это очередной хитрый выверт системы, ее мотивации на самомотивацию — успешно эксплуатирует себя сам. Хан именует его современным Прометеем — «Миф о Прометее можно истолковать как картину психического аппарата у сегодняшнего субъекта достижений, который насилует самого себя, ведет с самим собой войну. Субъект достижений<sup>28</sup>, который мнит себя свободным, а действительно скован, как Прометей».

Спасение тут, по Бён-Чхоль Хану, одно — в скуке, праздности, что восходит к высокому созерцанию ещё древних греков, от Катона и Цицерона. Индивиду, как сказано в книге Дмитрия Данилова «Пустые поезда 2022 года», жизненно необходимо «включить тормоза», приостановиться, выпасть, вытащить себя, как Мюнхгаузен, из этой гонки крысы в клетке по колесу. Хан тут оспаривает Ханну Арендт с ее концепцией *vita activa* и выводит на сцену воистину вездесущего — даром что страдал депрессией, сугубой проактивностью не отличался и вообще непозитивно покончил с собой — Беньямина. «Вальтер Беньямин называл эту глубокую скуку волшебной птицей, “которая высиживает яйцо опыта”. Если сон — это высший пункт телесного расслабления, то глубокая скука — это высший пункт расслабления духовного. Чистая суматоха не создает ничего нового. Она воспроизводит и ускоряет уже имеющиеся. Беньямин сожалеет о том, что эти гнезда расслабления и времени все больше исчезают в современном мире. Люди больше “не ткут и не прядут”. Скука — это “теплый серый плед, который подбит изнутри пламенеющей, цветастой шелковой подкладкой” и в который “мы заворачиваемся, когда видим сны”»<sup>29</sup>.

Мы же вспомним современного мыслителя-эссеиста, на собственном опыте рефликсирующего над сходной проблематикой, Ольгу Балла: «Очень похоже, что на ныне разворачивающемся этапе биографического развития (что противоположно развитию? свитие?) уединение, молчание и большие пространства неторопливой свободы вокруг нужны мне даже гораздо больше книг (и по сию минуту пребывающих в статусе аддикции и вызывающих, как аддикции и положено, неутолимый зуд, но тем не менее) и (сопутствующего им) расширения горизонтов. Впрочем, уединение и молчание — тоже расширение горизонтов, да ещё какое»<sup>30</sup>.

### *Отдать жизнь за «дело детей»*

**Александр ФЁДОРОВ. Производство будущего. Мир «двойного двоеточия». — СПб.: Гуманитарная академия, 2023. 496 с.**

Книга ректора Балтийского федерального университета им. И.Канта, доктора философских наук<sup>31</sup>, профессора А.Фёдорова посвящена, как громко оглашает аннотация, «теме будущего, его формирования (производства) как фундаментальной черте человеческого существования»<sup>32</sup>. Начинает же Фёдоров, что симптоматично для нашего разговора и архетипично для темы, с фёдоровского учения о воскрешении мёртвых. То есть по касательной, через построение орбиты небесных тел, так сказать: разбирает попавшуюся в подшивке журнала «Пионер» за 1937 год роман Григория Гребнева «Летающая станция». Оно того стоит, ибо ребенок «из этого фрейма прошлого прошлого будущего» (таков, с первых страниц, язык этой книги, будем же привыкать) учится «на дистанте» (удалёнке, как на ковиде!), пользуется радиотелефоном, летает на автожире и — мечтает о воскрешении (правда, только замороженных, в рамках криомедицины, конкретнее — «трупа Амундсена»). В его будущем — примерно в нашем настоящем, можно предположить? — воскрешают мёртвых из состояния глубокой заморозки и управляют погодой (ещё один фёдоровский план-прозрение, как мы помним). «Это будущее, которое творят титаны. Они двигают моря и реки, управляют погодой, преобразуют мировую политическую карту, устанавливают общие ценности и стремятся к бессмертию. Они создали тотальные средства коммуникации»<sup>33</sup>. В этом мире, надо отметить, абсолютно отсутствуют два признака знакомого нам футурофрейма — интенция освоения космоса и искусственный интеллект.

Все эти достижения стали доступны после победы (буквальной, в войне) социализма и утверждения всемирного коммунистического правительства с анонимизированным правителем (интересная деталь, выводимая, действительно, из логики народного правления, плюс доля китайского этоса с приоритетом коллектива над личностью). Любопытно ещё и то, как в старой книге решался вопрос «дела отцов», фёдоровского культа предков. Да, у Фёдорова (не нашего автора, а того) дети видели свое призвание в воскрешении отцов, здесь это тоже есть, но подчиненная роль детей — и это отсылает нас к теме блудных отцов/сыновей — как бы нивелирована. Дети наделены той же долей ответственности и самостоятельности, что и отцы. «Следование норме взрослости не является приговором и обязанностью», как суммирует Фёдоров несколько позже.

И выводит, что, видимо, можно считать магистральной мыслью книги. Будто чуть развивая лапидарный посыл группы Sex Pistols и озвученный ею разочарованный нигилизм панков про no future, А.Фёдоров утверждает, что «будущее никогда не наступит, потому что на самом деле ничего, кроме будущего, не существует. В числе прочего ещё и потому, что, кроме будущего, ничего больше для человека в его экзистенции и присутствии в наличном нет».

Ситуация же настоящего будущего (Фёдоров, см. выше, будто оперирует в своей терминологии формами времени а-ля английский<sup>34</sup> Present Continuous Tense, etc.) — а кто бы сомневался — довольно мрачна. Как можно догадаться из — эта мысль не дается за собственным авторством, вообще проходит не совсем красной линией, надо признать, — приводимых им цитат. Техника в наши дни эволюционирует значительно быстрее культуры (посыл Б.Стиглера). Понятие «созависимости замещает понятие признания, так же как этика устойчивого развития замещает моральную философию» (Р.Брайдотти). Солидарен, во всяком случае, сочувственно относится автор и к следующему высказыванию А.Зиновьева, по которому западиот, то есть «высший продукт эволюции человека», нынешней, по преимуществу, западной цивилизации, это «внутренне упрощенное, рационализированное существо, обладающее средними

умственными способностями и контролируемой эмоциональностью, ведущее упорядоченный образ жизни, заботящееся о своем здоровье и комфорте, добросовестно и хорошо работающее, практичное, расчетливое, смолоду думающее об обеспеченной старости, идеологически стандартизированное, но считающее себя при этом существом высшего порядка по отношению к прочему (незападному) человечеству».

Из этого всего следует, можно опять же попробовать реконструировать направление авторской мысли (реконструировать не только из-за того, что Фёдоров здесь анализирует ещё одну старую книгу, на этот раз анонимный трактат конца XVIII века «Хризомандер, аллегорическая и сатирическая повесть различного весьма важного содержания», но из-за особенностей изложения, о чем далее), что назрела необходимость в кардинальных бытийственных переменах. «Исторический Разум эпохи больше не порождает будущее, пре-акторы отсутствуют. Необходимо радикальное изменение: прорыв, подрыв, рывок, одним словом, выход за пределы терруарного фреймворка. Это означает высказать другое суждение<sup>35</sup> в отношении “положения об основании”».

И единственная надежда тут на своего рода новое «общее дело» — «дело детей». «Имя им — Дети. Видимо, это в них скрыт единственный шанс, которым мы не сможем воспользоваться. Для того чтобы это случилось, необходима цивилизационная катастрофа, отличающаяся от всех предыдущих тем, что в этот раз человечество действительно приобрело глобальность, миссия которой состояла бы в радикальном изменении измерения будущего и которую человечество тем не менее допустить не может — ради своих детей. Это парадокс, не имеющий разрешения в рамках способов мышления о будущем, которыми мы располагаем, и следующих за ним способах его производства. Он абсолютно не имеет отношения ни к каким нелепым этическим дилеммам».

Пока же такими детьми — инноватиками — выступают лишь два американских бизнесмена-изобретателя. «Рекомпенсацией за возможность покинуть ойкумену будет инженерийное намерение обретения внетелесной мобильной универсальности, включая бессмертие со всей невероятно сложной вспомогательной инфраструктурой поддержки цифрового пространства, и неизбежное контрольно-деконтрольное противостояние. По крайней мере, на 2023 год от Рождества Христова великие инноватики современности предложили только два фрейма производства будущего с действующими метафизическими машинами: Цукерберг с метавселенной и клиническим имманентизмом (коллективное погружение в персональное пространство-время, почти абсолютно открытое для любого) и Маск с “полетом на Марс” и идеей исхода-бегства из дистопии, в которую необратимо сваливается планетарная история».

Все эти весьма интересные мысли, подкрепленные богатой эрудицией, — автор сведущ в современных западных работах, что не так уж часто встречается у наших исследователей, ограничивающихся в своем списке цитаций джентельменским набором Беньямин-Агамбен-Пятигорский, — к сожалению, весьма трудно уловить, вообще воспринять из-за особенностей подачи. Во-первых, это зашкаливающее обилие сугубо авторской лексики — так, например, он оперирует (не вводит его, а скорее кидает как естественное для себя) словом «визуал», под которым может подразумеваться и фильм, и картина, и даже анимэ. Тем большие сложности это вызывает, поскольку А.Фёдоров в своем изложении привлекает широкий спектр весьма неожиданных вещей: 100-серийные сериалы, японские анимэ, сказку собственного сочинения, конкретные балет, сорт самогона и несколько поименованных отелей (product placement в философской книге? уже интересно). Во-вторых, тезаурус «доказательной базы» в «Производстве будущего» выглядит примерно так: «Найдем ещё один ракурс обзора на эту точку-в-зрении, которая привела к тому, что “князь Мышкин”, “вернувшийся с Луны”, “крадёт себе медведя”, чтобы “жить с ягуаром”» (будем объективны, эти все понятия вводятся, но, право, существенно легче от этого

не становится). И если вы думаете, что, по запрещенным приемам ехидных рецензентов, я выбрал самый зубодробительный отрывок, то это отнюдь не так. Посланный — всего лишь в связи с одним релевантным именем в нём — отрывок из этой книги в дружеский чат породил долгое обсуждение и большое количество смайликов и даже хорошего настроения. Бог или чёрт с ним, птичьим языком наукообразной лексики вроде — «порождение эмерджентного темпорального фрейма темпоральных антиномий» — после Бадью, Лиотара, Делеза и иже с ними никого не испугать. Но вот подобные маршруты — «о-концовочный переход границы — выход из фрейма ПБ? прорыв в RG, регион настоящего, событие *Nahheit*, “близи” (она назовет его “стрелкой”) и властный ход *Prt*» — нуждаются в расшифровке и переводе на удобочитаемый язык, вам не кажется?

Действительно жаль, ведь всё это, как мне представляется, не уточняет, а размывает мысль. О том, что «только в Детстве как самоценности есть ещё тот исток, который в мире катастрофических идеологий, трансгендерных трансформаций, запутанной религиозности, постсекулярности и гирлядности промышленных революций, рекурсии кризисов и катастроф, поисков бессмертия и смертности, — только в Детстве, повторим мы, заключен восходящий росток будущего в его производстве и сохранении, в котором взойдет новое поколение будущего».

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

<sup>1</sup> В той же серии «Звёзды научной фантастики» книга и издана.

<sup>2</sup> Впрочем, это не редкость в фантастике в целом и в фантастике последних лет в частности — так, в недавней книге Нила Стивенсона «Падение, или Додж в аду» основной темой становится цифровое бессмертие.

<sup>3</sup> Это, кстати, уже довольно распространённая черта, опять же чуть ли не обыденность новой фантастики.

<sup>4</sup> Впрочем, не только в нём, но и в обыденной жизни. Людям — за хорошие деньги, но это вполне распространено — доступен полный апгрейда тела, допускающий любые трансформации. Так, мертвячка-возлюбленная главного героя во время секса с ним преобразует себя в труп: а) — это многих возбуждает; б) она хочет, чтобы он, обреченный умереть через пару суток, забыл её, не цепляясь в её лице — и теле — за жизнь; в) так она хочет влюбить его в себя ещё больше, попутно поняв, до каких пределов может пойти его любовь (вспоминая песню уже Синатры — *I've got you under my skin*). Герой постфактум, но всё же осознаёт: «Теперь я понимаю, почему ты так поступила в отеле. Твои трюки с превращением. Ты не хотела, чтобы я возненавидел тебя, увидел монстра, вампира, который питается мужскими желаниями. Ты хотела шокировать меня, бросить мне вызов и посмотреть, сумеют ли мои представления о том, какой может и должна быть любовь, выйти за рамки, обусловленные плотью. Ты обнажила себя до голых костей и спросила, могу ли я полюбить это. Я могу, Нуит. Я могу полюбить тебя такой». Кстати, в имени Нуит не трудно прочесть имя древнеегипетской богини Нут, что была связана с культом мёртвых — она возносила умерших на небо и охраняла их в гробнице (её изображение часто помещали на внутренней стороне крышки саркофага или на потолке склепа). Так и Нуит из книги впоследствии сама, отвергнув помощь похоронных агентов, кладет героя в чан, наблюдает за его разложением и последующей сборкой.

<sup>5</sup> См. Чжуан-цзы (Цит. по: [https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Jan\\_Czhu\\_II/text18.phtml?id=](https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Jan_Czhu_II/text18.phtml?id=)).

<sup>6</sup> Об этом мы находим интуицию у современного мыслителя Александра Черноглазова: «...Воскресение мёртвых, сюжет, с незапамятных времен занимающий человеческое воображение, нужно представить себе не как восстановление тела из материи, из земного праха, а как воссоздание пустоты, момент, когда будет упразднено сущее, чтобы дать не-сущему подобающее ему место. Именно таким и предстает воскрешение мёртвых у замечательного, безвременно погибшего русского художника Василия Чекрыгина на сотнях посвященных им этой теме рисунков. Одержимый идеей воскрешения мёртвых, которая развивается в «Философии общего дела» Николая Фёдорова, он создает обширный цикл эскизных работ, представляющих собой

наброски задуманной им на эту тему монументальной фрески». (*Черноглазов А. Казус кляксы. Новые размышления о видимом и невидимом. — СПб.: Jaromir Hladik press, 2024. С. 36–38. О мотивах космизма в творчестве Чекрыгина писала А.Гачева.*)

<sup>7</sup> Бён-Чхоль Хан, о книге которого мы поговорим чуть дальше, трактует Агамбена так, что в эти ряды вполне можно было бы включить и воскрешённых: «Более голой, чем жизнь homo sacer, является сегодняшняя жизнь. Homo sacer — это изначально кто-то, исключенный из общества за преступление. Его можно безнаказанно убить. Согласно Агамбену, homo sacer выражает абсолютно убиваемую жизнь. Как homines sacri он описывает евреев в концентрационном лагере, узников Гуантанамо, людей без документов, беженцев, которые ждут эвакуации в пространстве вне закона или же вегетативных больных в реанимационных отделениях».

<sup>8</sup> Этот обмен репликами в две фразы заслуживал бы отдельного эссе, столько здесь коннотаций, смыслов и подтекстов. От банально-психологических (свойственное детям, эгоистическому эскапизму взрослых и следующее за травмой потери близких неверие в смерть, «мёртвых не существует») до религиозных (мёртвый-воскрешённый сын взывает к отцу, как Иисус на кресте к оставившему его Богу-Отцу, а отец бросает здесь сына, оказываясь «блудным отцом»).

<sup>9</sup> Имеется в виду — эта тема развивается больше в сборнике рассказов, хотя и роман умело мигрирует иногда в жанровые области то космической оперы, то чуть ли не фэнтези — степень продвинутости цивилизации. Например, «по Шкале Кардашёва цивилизация III типа использует энергию собственной галактики, включая такие ее источники, как квазары, гамма-всплески, сверхмассивные чёрные дыры и т.д.». К вопросу о сроках реализации самых фантастических построений любопытно вспомнить, что сам Кардашёв представил свою классификацию в советском «Астрономическом журнале» еще в 1964 году.

<sup>10</sup> Просто-таки Greatful Dead какие-то.

<sup>11</sup> См. рецензию на эту книгу: *Чанцев А. Принцип всеединого музея // «Новый мир», 2016, № 2 ([https://magazines.gorky.media/novyi\\_mi/2016/2/princzip-vseedinogo-muzeya-boris-grojs-russkij-kosmizm.html](https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2016/2/princzip-vseedinogo-muzeya-boris-grojs-russkij-kosmizm.html)).*

<sup>12</sup> Причины того, что, как в «Некровиле», оживленные мертвецы будут стигматизированы, автор возводит со своих марксистских позиций к классовому характеру общества: «...Продолжение жизни в классовой общине вместо расширения возможностей неотчуждаемой самореализации станет ещё одним классовым маркером (и классовой привилегией), шагом на пути к самодеструктивной сингулярности». Странно хотя, ведь такие радикальнейшие, корневые изменения бытия человечества, как возможность воскрешения, должны были бы элиминировать такую «мелочь», как классовое и финансовое расслоение... Но, видимо, общество и на пороге рая/ада будет цепляться за «привилегии».

<sup>13</sup> Закон Мура (ещё в 1965 году предсказавшего, что количество транзисторов на кремниевом чипе будет удваиваться каждые два года), компьютерный оверклокинг (впрочем, отягощенный «законом Вирта» — «чем быстрее становятся компьютеры, тем медленнее программы») и прочее.

<sup>14</sup> «Почти каждый уходит из жизни, не свершив в ней и десятой доли того, что он мог бы совершить», резюмирует в своей мемуарной книге под финал жизни Паустовский. *Паустовский К. Время больших ожиданий // Паустовский К. Повесть о жизни. — СПб.: Азбука, 2023. С. 713.*

<sup>15</sup> Появились и точные сроки: «Компания Colossal намерена воссоздать мамонтов к 2028 году». Без указания автора. Биотехнологи добились прогресса в воссоздании мамонтов // РБК. 2024, 8 марта ([https://www.rbc.ru/technology\\_and\\_media/08/03/2024/65ead9539a79475387c04b05?](https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/03/2024/65ead9539a79475387c04b05?)).

<sup>16</sup> «Пространство для Бытия». — «Дружба народов», 2023, № 12.

<sup>17</sup> К параллелям — да уже к теме всеобщих, всеохватных переключек! — с предыдущей книгой, ср. с темой блудных отцов-детей в ней. Цитирует автор в другом месте и Фёдорова: «Бог, не имеющий сына, кажется... не имеющим любви, то есть не всеблагим, потому что не имеет предмета, достойного ее, кроме самого себя, — одного только себя». И мы помним: «Вся тварь совокупно стенает, ожидая усыновления» (Рим. 8, 22, 23).

<sup>18</sup> Аверинцев и Библихин, Лосев и Горичева, Бахтин и Гачев, Хоружий и Налимов, Лотман и Зиновьев, Пятигорский и Мамардашвили, Щедровицкий и Библер... Если же учесть живших за границей (Кожев, Пригожин), тех, чьи труды тайными тропками начинали проникать (от философов того же Серебряного века до Даниила Андреева), то мыслительный взрыв этот был потрясающей силы, во много мегатонн-ноосфер.



<sup>19</sup> Представительные издания Сапгира и Кривулина выходят только в этом году.

<sup>20</sup> В этом же году лишь издана — до этого в израильском журнале «Зеркало» выходили его мемуары — главная книга Алексея Смирнова фон Рауха, а сколько его сочинений и картин, по частному признанию его архивиста, еще только ждут — или погибли во время затянувшегося ожидания (пожар)...

<sup>21</sup> Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь / Пер. с ит. М. Велижева, О. Дубицкой и др. — М.: Европа, 2011. С. 19.

<sup>22</sup> Авченко В. Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем. — М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2023. С. 440.

<sup>23</sup> Трудящееся животное (лат.).

<sup>24</sup> Не скрыть буквально. Те же повязанные платки и балаклавы не спасают от идентификации камерами с искусственным интеллектом (символично, что так был арестован за участие в студенческой акции протеста против повышения цен на обучение Чарли Гилмор, приёмный сын гитариста Pink Floyd Дэвида Гилмора, столько певшего о борьбе с контролем общества), посему во время протестов в Гонконге уличные мятежники использовали не только лазерные указки, чтобы ослепить камеры наблюдения (кажется, это не работает), но и специальные компьютерные программы. А теперь перечитаем это предложение — перед нами настоящий киберпанковский мир Гибсона и Стерлинга. То-то эти авторы в своих последних книгах описывают не миры будущей схизматрицы, в вполне себе наши годы...

<sup>25</sup> Еще и ПТСР.

<sup>26</sup> И религия для современных «метафизических бездомных» (Питер Бергер) становится лишь одним из возможных, зачастую проигрывающим прочим, занятий: «Единый символический мир распался, каждый человек отныне создает смысл своей жизни сам, а религия попадает в пространство жесткой конкурентной борьбы, ведь даже время, свободное от работы, которое теоретически может быть отведено для религиозной жизни, человек теперь должен разделять между спортом, музыкой, кино, общественной деятельностью и, если того требует что-то внутри, религией». Носачёв П. Очарование тайны: эзотеризм и массовая культура. — М.: Новое литературное обозрение, 2024. С. 27.

<sup>27</sup> См. Чанцев А. На интеллектуальном турнире. Беседовал А. Комаров // Excellent, 2023, 21 ноября (<https://sarmediaart.ru/intervyu/186-intervyu-s-aleksandrom-chantsevym-na-intellektualnom-turnike.html>).

<sup>28</sup> Вообще, весь этот пафос не нов, о том, что даже не общество перегружает индивида, но заставляет его загружать себя сверх меры и надобности, размышлял ещё Адорно: «Возможно, — пишет Адорно, утверждая утопию непроизводительности и непродуктивности как единственное избавление от этого мира, — истинное общество пресытится развитием и, имея на то свободу, оставит возможности неиспользованными, вместо того чтобы под безумным принуждением бросаться на штурм чужих звезд». Ченурин К. Невозможность мира // Адорно Т. В. Minima Moralia: размышления из повреждённой жизни / Пер. с нем. А. Белобратова. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2023. С. 14.

<sup>29</sup> Хан цитирует беньяминовского «Рассказчика», а мог бы и «Похвалу скуке» Бродского: «Когда вас одолевает скука, предайтесь ей. Пусть она вас задавит; погрузитесь, достаньте до дна».

<sup>30</sup> Балла О. Дикоросль-5: две тысячи двадцать третий. — Ганновер: Семь Искусств, 2024. С. 275.

<sup>31</sup> Показателен в каком-то плане и круг его интересов: кандидатская на тему «Концепция философской антропологии в трудах русских масонов последней трети XVIII века («новиковский круг»)», докторская — «Эволюция европейской мистической традиции и ее влияние на русскую философскую мысль (последняя треть XVIII — первая треть XIX веков)».

<sup>32</sup> В по-западному обширном разделе благодарностей она выражается в том числе и тибетскому монаху — тот вспомоществовал с провидением грядущего?

<sup>33</sup> Они более чем присутствуют в нашем мире — надо ли считать его насельников титанами?

<sup>34</sup> Или французский с нижегородским?

<sup>35</sup> Да «другое начало» Библихина-Хайдеггера же.

Евгений Абдуллаев

## Молодая, свободная, травмированная

Об этом пишутся статьи и устраиваются дискуссии.

На последней, весенней, ярмарке Non-fiction даже провели паблик-ток «Как женщины меняют современную литературу». Выяснилось, что меняют.

Моя задача в этой рубрике, как всегда, скромнее. Не *вся* современная литература — а только некоммерческая (немассовая) и художественная (не нон-фикшн). И не *все* женщины — а молодые, дебютировавшие совсем недавно. И, наконец, не то, как они — и их романы — «меняют современную литературу», а как отражают современные социальные и прочие реалии. О новом герое, который входит вместе с ними в литературу; точнее, о героине.

О героине нашего времени.

Пять романов, вышедших в последние два года. Все — в крупных издательствах: «АСТ», «Эксмо», «Альпина нон-фикшн». Некоторые успели засветиться в престижных премиальных списках.

Наконец — с этого следовало начинать, — все написаны талантливо. Динамично, упруго, точно по стилю; достоверно по психологическому рисунку. И с той подкупающей энергией молодости, которая пульсирует почти в каждой строке.

Итак.

Анастасия Сопикова — «Тоска по окраинам» (2022). Наташа Гринь — «Апоптоз» (2023). Маргарита Ронжина — «Одиночка» (2023). Даша Благова — «Течения» (2024). Светлана Павлова — «Голод» (2024).

Прежде чем делать обобщения, стоит кратко сказать о каждом романе.

«Тоска по окраинам» Анастасии Сопиковой состоит из пяти новелл, в течении которых Настя, нелюбимый ребенок нелюбимых родителей, успевает вырасти, позаниматься в театральной студии, пережить несколько любовей и полу-любовей, переехать в Питер, не слишком удачно поработать в букинистическом магазине... Снова пережить любви, полу-любви, четверть-любви. В конце заразиться коронавирусом...

Её тёзка, героиня «Течения» Даши Благовой, — родом из поселка рядом с Железноводском. Сложные отношения с сестрой, «тесное детство». Настя поступает на журфак МГУ, переезжает в Москву, вселяется в общежитие. И начинает страдать от одиночества. Какое-то время от него спасает соседка по общежитию Вера. Но вскоре дружба дает трещину, депрессия нарастает, учёба заброшена. Пережив несколько кратковременных связей, Настя вроде бы влюбляется в однокурсника Петю. Но и это не слишком надолго. Заканчивается книга всё же на позитиве. Угроза отчисления миновала, Настя начинает работать в крупном издании и мирится с сестрой.

«Апоптоз» Наташи Гринь пересказать вообще сложно. Поток сознания героини, молодой преподавательницы французского. Поток наблюдений и воспоминаний,

возникающих по ходу ее движения по Москве. О детстве, о родителях, о смерти, о любовниках, о сестре; всё довольно безрадостно. Что и отражает название, «Апоптоз» (распад клетки).

«Одиночка» Маргариты Ронжиной слегка выбивается из этого ряда. И героиня, Саша, — далеко не успешна, и кроме нее в тексте присутствует еще одно лицо: новорожденный ребенок. ДЦП, частые эпилептические приступы. Помощи Саше ждать неоткуда. Отец ребенка ушел в начале беременности. Мать Саши давно умерла, отец в отъезде, поддерживает только присылкой денег. Что тоже не лишне: Саша не работает, расходы на врачей-лекарства-памперсы, хождение по кругам медицинских и социальных служб... А тут еще проснувшееся либидо, быстрые и короткие связи, стыд перед ребенком. Наконец, появляется прекрасный Он (Дима) и всё вроде начинает налаживаться. Но классического хэппи-энда не происходит: Диме нужно, чтобы они были только вдвоем, без ребенка-инвалида. Саша снова одна. Конец всё же мажорный. Саша научилась быть счастливой, свыклась со своей ролью «одиночки».

И, наконец, «Голод» Светланы Павловой, с подзаголовком «Нетолстый роман». Лена, москвичка, родом из Астрахани, тридцать лет. Карьера, ипотека, вечеринки, друзья. «Нормальная жизнь». Хотя нет, не совсем нормальная. Больше десяти лет сидит на диете (булимия), срывается с нее, снова голодает. Бойфренд-сослуживец Сергей, «весь из себя мускулистый», неглупый, но тоже как-то все не клеится. Где-то в середине романа вроде бы приходит настоящая любовь, Ваня. Подходящий Лене всеми своими изъянами. Прежде всего, kleptomанией, которой он страдает. Минус на минус (kleptomания на булимию) даёт если не плюс, то взаимопонимание.

Итак, пять героинь, пять историй жизни, во многом похожих друг на друга.

Почти у всех — травматичное детство, тяжелые и сложные отношения с родителями; у героинь «Апоптоза» и «Течений» — ещё и с сестрой. Эти конфликты, обиды, травмы непрерывно вспоминаются и рефлексиируются<sup>1</sup>. Особенно «достается» матерям. Матери героинь, как правило, несчастны, причем как в разводе, так и в браке. И превращают в тихий ад детство своих дочерей. Опять же, неважно, — плохо скрытым безразличием к ним, или же своей любовью.

«Я страшно её любила. И она, пожалуй, страшно любила меня. Только вот главное слово в этих строчках — не “любила”, а “страшно”» («Голод»).

Насыщенность современной «молодой» прозы детскими травмами объяснима. С одной стороны, 90-е, на которые пришлось детство почти всех героинь. Распад привычных социальных связей, маргинализация целых слоев общества, неуверенность в завтра — всё это, естественно, отражалось и на детях. С другой стороны, популярность «литературы травмы», бум которой начался на Западе в начале 2000-х, а в России — где-то в середине 2010-х, и пока еще не завершился. Вполне легитимный повод для разглядывания собственных детских обид.

Впрочем, хватает и других. Почти все героини — родились и выросли в провинции и затем уезжают в Большой Город. Вживание в эту новую для них, чуждую и довольно агрессивную, среду тоже происходит тяжело.

«...Раньше она казалась мне веселым, сказочным городом, в розовых облаках и чуть приподнятым над остальной Россией. Теперь, вырвавшись оттуда, я поняла, насколько же душной камерой была Москва. Со своего холма мне было видно, как облака осели, и оказалось, что всё это время они закрывали чудовищный фундамент из трупов таких же девочек, как я» («Течения»).

Ни одна из героинь, однако, не стремится вернуться из этой «душной камеры» к родным пенатам. Если только по необходимости, на короткое время.

<sup>1</sup> За исключением разве что «Одиночки»: ее героине не до реминисценций, ей приходится думать о ребенке-инвалиде, о том, как его лечить и на что жить...

Но, пожалуй, самой сложной и травматичной сферой являются отношения с противоположным полом. Нет, внешне они просты. Даже, наверное, слишком. Короткие, ни к чему не обязывающие связи. Один партнер, второй, третий... Отношения, длящиеся хотя бы полгода, выглядят в романах неправдоподобно долгими, почти старомодными.

Эта модель, опять же, идет из семьи.

«...Отец явно оставил в матери огромную дыру, которую требовалось — идиотский каламбур — заполнять новыми и новыми мужчинами. <...> С годами пассивности становились один хуже другого, но все как на подбор — с огромной ряхой, — и скорость их ротации только росла» («Голод»).

«В какой-то момент я поняла, что сестра устала. Устала от сита под сердцем, куда проваливались все ею встреченные. <...> Мужчин она стала брать как бы в кредит... Ничего не требовала, на семью не покушалась и истерик не закатывала — просто жила где-то перед собой и принимала все, что предложат, а там — что бог пошлет. И он посылал их в нашу московскую однушку не часто, а так — время от времени. Все были разные, но в чем-то похожие, безучастные, с какой-то одной застывшей эмоцией на лице. С белесой кромкой засохшей слюны на толстых губах» («Апоптоз»).

Так и героини — не ждут своего «единственного», а активно принимают «что бог пошлет» (именно такой, с маленькой буквы).

«Среднее арифметическое мужских образов — мерзкий мудака», пишет Яна Сафронова, разбирая «Тоску по окраинам» («Урал», 2023, № 11).

Почти то же можно сказать о мужчинах и в остальных романах<sup>1</sup>. Инфантильные, эгоистичные, ненадежные; пригодные только для удовлетворения понятно какой потребности.

Но и само ее удовлетворение героинь тоже не особо радует. Здесь их саморефлексия доходит до предельной обнаженности и жестокости.

«Секс — да, это хорошо, но после него следовала смертная тоска, скука и даже тошнота, если любовник был случайным и надолго задерживался в квартире» («Тоска по окраинам»).

«...Секс как любовь, а не как функция механического движения тел давно в ее жизни не существовал» («Одиночка»).

«Я не хочу специально радовать кого-то сексом, я и сама не рада — просто секс и секс, то, что я делаю, потому что делаю» («Течения»).

Можно цитировать ещё. Нужно ли?

Ни одна из героинь не стремится к созданию семьи. Сам мир семьи, дома — он где-то далеко, на другой планете. «В окна лупятся теплые огни других домов — жилых, населенных нормальными семьями. Там есть холодильники, и горячая еда, и кому сходить за продуктами, и кому напомнить про стирку последних чистых носков... Домашние аптечки, домашние котлетки. Ха-ха» («Тоска по окраинам»).

Такого же рода мысли о браке и у героини «Течений», Насти. Случайные и чисто теоретические. Она представляет, как, выйдя замуж, будет «выписывать себе в блокнот рецепты, попроще и посложнее: когда гости на пороге, если свекровь стучится в дверь, для больших праздников и на скорую руку». «Ха-ха» в конце отсутствует, но, скорее всего, подразумевается.

Даже если появляется тот, с кем действительно становится хорошо, тепло и надежно, тема брака не возникает. Ни у Насти в отношении Пети («Течения»), ни у Саши с Димой («Одиночка»), ни у Лены с Ваней («Голод»), хотя в финале романа есть намёк на то, что они останутся вместе. Возможно, даже поженятся. А возможно, и нет.

---

<sup>1</sup> Иногда почти теми же словами. Как сообщает о своем бой-френде Лена («Голод»): «Интересный мужчина. Жаль, что по совместительству такой мудака».

Можно было бы, конечно, всё списать на феминизм и «тлетворное влияние Запада». Но в романах ничего феминистского нет; кроме разве что носков с надписью Feminist, которые носит Лена («Голод»). Ни протеста против мужского насилия ни утверждения прав и свобод женщин<sup>1</sup>.

Героини и так — свободны. И, похоже, не слишком от этого счастливы.

Они почти целиком заиклены на своих ощущениях, переживаниях, желаниях. Остальное — не в резкости. Их почти не интересует социум. Только Настя («Течения») начинает в финале активно интересоваться социальной и политической жизнью; но этот неожиданно проснувшийся интерес и выглядит в романе не совсем мотивированным.

Социальное безразличие героинь, замкнутость на себе, соседствует с безразличием религиозным. Религиозность родителей (отца в «Апоптозе», матери в «Голоде») вызывает у них отторжение. В церковь заглядывает только мать-одиночка Саша. «...Она знала, что многие родители детей с ограниченными возможностями ходили в церковь. <...> Они были другими. Они объясняли все события, даже самые маленькие, присутствием Бога. Его любовью или Его карой. А ей это было странно, незнакомо. И всё же. Может, станет легче?» Легче не становится. Малоприятное общение с не в меру ретивыми церковными старушками, и Саша быстро уходит из церкви. Обратно в себя и свои проблемы.

И осуждать ее не тянет. Как и других героинь. Но и сильно им сопереживать — тоже (за исключением всё той же «одиночки» Саши). Возможно, потому что в них самих этого мало — любви (любви-жертвы, а не просто «механического движения тел») и сопереживания.

Нет, дело не в отдельно взятой психологии отдельно взятых героинь отдельно взятых романов. Дело в тех процессах, которые эти тексты честно и убедительно отражают. Речь о семье и других институтах социальной общности.

Но о семье — в первую очередь.

Именно с ней, с ее трансформацией связаны основные проблемные узлы этих текстов. С травматичными воспоминаниями о семье, в которой героини выросли. И с устойчивым нежеланием создавать свою собственную.

«Отношения внутри семьи стали быстро и необратимо меняться, потому что все традиционные модели оказались сметены. <...> Люди в семье могут быть партнерами, семьей человека могут быть его друзья, могут быть родители — кровные или нет. В конце концов, человек сам может быть себе семьей. И остановить этот процесс эмансипации <...> невозможно, несмотря на усилия власти по восстановлению и навязыванию традиционных семейных отношений (которые, вообще говоря, в исторической перспективе не так уж и традиционны)»<sup>2</sup>.

Это высказывание Евгении Некрасовой, к сожалению, вполне справедливо.

Впрочем, это было сказано еще в 2021-м. И действие в романах, о которых шла речь, тоже завершилось где-то до наступления новой реальности.

Всё то, что прежде еще могло находиться в зоне слепого пятна — политику, религию, национальность... — стало невозможно игнорировать. А тот травматический опыт, который представлялся важным прежде, изрядно поблек перед опытом последних двух с половиной лет. Который литературе еще предстоит осмыслить и отразить. Надеюсь, она сможет это сделать.

<sup>1</sup> Что до условного Запада, то его в романах фактически нет. Ни поездок туда, ни персонажей оттуда, ни работы в западных компаниях. Всё — местное, «тутошное».

<sup>2</sup> Александр Соловьёв. Семья. Травма. Женщины. Круглый стол с участием Веры Богдановой, Оксаны Васякиной и Евгении Некрасовой вышел далеко за рамки презентации их книг // Сайт «Год литературы». 19 июля 2021 г. (URL: <https://godliteratury.ru/articles/2021/06/19/semia-travma-zhenshchiny>).

Борис Минаев

## Что-то нормальное

Недавно одна моя знакомая, Ирина Ясина, известный публицист и правозащитник, провела вечер поэзии.

Она читала стихи наизусть в течение двух часов, даже дольше, и все слушали затаив дыхание. И не только потому, что это само по себе было удивительно и в человеческом, и в эстетическом плане. Ира вовсе не профессиональный артист и всегда читала стихи только для друзей, но она замечательно читает, замечательно интонирует — да и кто сейчас может вот так взять и прочесть огромные стихотворения на память, почти без единой помарки и подсказки?

Но дело было не только в этом.

Каждое из этих стихотворений — в диапазоне от Бориса Пастернака, Георгия Иванова, Павла Антокольского до Леонида Филатова и Вадима Жука — попадал, как говорится, прямо в сердце, обжигал и был не из вчерашнего, а именно из сегодняшнего дня. Это были стихи про нас, про наше время. Написанные сто лет назад, пятьдесят лет назад, год назад... Ни один из умнейших нынешних «аналитиков» не смог бы так точно сформулировать то, чем мы сегодня живем, как дышим, что думаем.

...То же самое чувство я испытал недавно и на спектакле по классической пьесе Шиллера «Мария Стюарт» в МТЮЗе. Пётр Шерешевский (ставший главным режиссером театра в декабре прошлого года) поставил его еще в мае 2022-го, но показалось, что буквально вчера.

Мережковский в книге «Вечные спутники» писал про «Дон Кихота», что есть в мировой литературе произведения, чей смысл раскрывается не сразу, а лишь в будущем. Да и до конца ли? Они как бы и написаны для будущих смыслов и будущих читателей.

Трудно, казалось бы, отнести эту мысль к классической пьесе, которую играли при всех эпохах и всех царях, во всех частях света и на всех языках — это же школьная классика, «учебник театра», и не более того?

Но оказалось, что более.

Сидящая в тюрьме королева Шотландии — не просто «исторический персонаж», неудачливый претендент на английский трон, «женщина тяжелой судьбы» и прочее, и прочее.

Это прежде всего угроза, главная опасность для всей системы, для государственной машины, для власти, для легитимности первого лица. Мария Стюарт — узник совести, политический заключенный, чья смерть желанна королеве. И все окружающие прекрасно это понимают.

О желательности, необходимости, важности этой смерти не говорят вроде бы прямо, но все хитросплетение интриг и переговоров ведет именно к ней. К смерти.

Нарастающее ощущение трагедии, ее неизбежности. Это все — «как у Шиллера». А что не «как у Шиллера»?

Примитивность, будничность зла. Его всепоглощающая банальная бездна. Ужас от этой банальности.

Если «как у Шиллера», то все эти графы лестеры, бароны берли, мортимеры и паулеты защищены, как броней, своей высокопарной, архаичной и «аристократической» речевой тканью, лексикой и стилистикой, созданной великим романтиком театра. Историческими костюмами, декорациями. Если «как у Шиллера», то все эти персонажи — «элита общества», участники высоких политических игр, к тому же люди, искренне обуреваемые высокими заботами о благе государства.

В спектакле — из них буквально кусками, ошметками, кровавыми плевками вылезает что-то совсем другое: скучные, мелкие и оттого еще более страшные чувства, мотивы, желания.

Я вспоминаю спектакль «Играем Шиллера» на сцене «Современника». Его поставил Римас Туминас около двадцати лет назад — абсолютно черное, словно закутанное страшной тайной пространство, две женщины, противостоящие друг другу. Ненавидящие друг друга. Две вселенные, созданные из страсти и ревности.

...В спектакле Шерешевского ничего этого нет, есть просто «политическая необходимость», бездарная и плоская.

Мария Стюарт (Софья Сливина) — сидит в камере под непрерывным всевидящим оком видеонаблюдения. Крупные планы подчеркивают ее опустошенность, подавленность, близкую к нервному срыву. Молчаливое отчаяние этой молодой женщины, в общем, не совсем понимающей, за что же она приговорена. Обыденность системы, поглощающей жизнь, просто потому что она «мешает» кому-то.

Через эти же крупные планы, как через театральный «детектор лжи» (проекция на большой экран, висящий над сценой) проходят все действующие лица пьесы. Малейшее душевное движение, даже мелкий тик, любой мимический знак — мы здесь видим отчетливо и ясно. Своеобразный «суд над судьями», теми, кто так или иначе повинен в этой смерти. Смерти без приговора. Казни без даже видимости законности.

...Трудно сказать, в какой момент это отчаяние, эта безысходность — вдруг переходит со сцены в тебя. Когда ты *сам* начинаешь умирать при виде несправедливости.

Может быть, в тот неожиданный момент, когда в знаменитой сцене «свидания в тюрьме» Елизавета (Виктория Верберг) начинает издевательски, похабно и мерзко унижать пленницу, обливая ее водой в ванне, намыливая ее волосы, упрекая ее в том, что она «не бреет ноги», «не следит за собой»... И ты вдруг физически ощущаешь эти мерзкие прикосновения, эту степень издевательства, это так отчетливо явленное на сцене не то чтобы прямое, но оттого еще более страшное насилие.

Может быть, в тот момент, когда граф Лестер (Игорь Балалаев) вдруг вылезает из королевской постели и прямо в пижаме начинает исполнять шлягеры 90-х, и эти приторно-грустные мелодии вдруг вскрывают твоё эмоциональное состояние, накопившийся в душе ужас.

Да, «Мария Стюарт» Шерешевского далека от классического канона, там очень много вольной импровизации «на темы дня» — нашего дня: и охранники в черной форме, пьющие водку и жарящие яичницу (Паулет и Мортимер, Александр Тараньжин и Илья Шляга), тем не менее, как бы сочувствующие пленнице, — это те единственные «винтики системы», которые пытаются и в этой ситуации сохранить человеческое лицо. И хладнокровный чиновник, типичный «глава администрации» со своим вечным огромным смартфоном, холодной брезгливостью, шикарным костюмом (барон Берли, Сергей Погосян). Он постоянно трет ваткой все поверхности, к которым прикасается, «дезинфицируя» от человеческих страданий и эмоций окружающую его реальность. То есть всё вокруг превращая в скучные и плоские элементы «политически

необходимого». Не помню, чтобы кто-то еще так убедительно сыграл на сцене технократа от политики, с его удивительным, всепоглощающим цинизмом.

...У каждого из этих людей есть свой голос в этой симфонии зла, в этом оркестре уродства. Но, конечно, солирует в нем королева Елизавета.

На мой взгляд, это гениальное исполнение того самого душевного состояния, когда грань между нормой и антинормой вдруг, незаметно, оказывается пройденной. Того самого состояния, когда неожиданно выясняется: можно уже всё, нет и не будет больше ничего «неприличного».

Женщина, открывающая для себя эту новую реальность, конечно, выглядит значительно интереснее и значительно страшнее, чем мужчина. Каскад эмоций, граничащих то со злобной истерикой, то с восторгом: можно убивать, можно раздевать догола охранника, можно быть любой, можно играть любую роль, нельзя только одного: стесняться, стыдиться, «переживать».

Всё уже можно.

Когда королева английская и шотландская достает руками соленые помидоры из банки и смачно ест их (все та же нехитрая тюремная закуска охранников) — это сначала кажется безумным, чрезмерным, уродливым. Но потом ты понимаешь, что в этом и есть суть.

*Эти* люди — уже перешли все границы.

Постоянно сгущающаяся атмосфера спектакля складывается из массы говорящих деталей, из сложной вязи знаков, условностей, приемов, которые ты должен принять, но в итоге ничего «условного» в нем не остается.

Речь идет о попрании справедливости, об ужасе политического цинизма. Речь идет об очень простых вещах.

Особо, конечно, нужно сказать о внешней конструкции, визуальном ряде «Марии Стюарт» (художник Надежда Лопардина). И здесь тоже, как и во всем остальном, — всё сложно и всё просто: «тюрьма», камера предварительного заключения (ведь приговора-то нет), находящаяся в глубине сцены, — соседствует с безразмерной королевской кроватью, длинный бюрократический стол соседствует с «санузлом», белоснежные сорочки королевы или графа — с грубошерстным свитером и штанами узницы, шикарные костюмы — с домашними шлепанцами, всё происходит сразу, сейчас, здесь, без всяких переходов и проволочек, и в этом суть.

Так же, как и в парадоксальном музыкальном ряде («Мы желаем счастья вам», когда приговор уже приведен в исполнение).

...ТЮЗовские зрители с удовольствием до и после спектакля играют в предложенную театром нехитрую игру: вместо привычных исторических костюмов им предлагаются стоящие возле сцены фанерные фигуры — мужская и женская. С дыркой для лица (они называются «тантамарески»). Вот тут с костюмами и «историзмом» всё в порядке: пышные платья, узкие панталоны, кружева и жабо.

Зрители с удовольствием, как в парке культуры, фотографируются в роли «графов и графинь», может быть, даже воображая себя персонажами пьесы. Но у этого нехитрого удовольствия, «фотографии на память», есть и второй, подспудный, смысл.

А мы сами — насколько далеки от того, чтобы «перейти грань»? Приговорить другого человека ради «политической необходимости»? Закрывать глаза на происходящий ужас?

Неизвестно.

Выходишь из театра, и хочется глубоко-глубоко вдохнуть.

Неважно, какая погода. Просто вокруг город, люди.

Что-то нормальное.



# Summary

Madina Hackuasheva. The Land of Nassip

This long short story is about the searching of the formula for happiness by a teenager-boy Berd. He is trying to find it in the stoic maternal love, in the memoirs about his missing father and in his survived notes, in the everyday and religious views of his Christian nurse and Muslim grandmother. He is running away from home to look for his father refusing to believe in his death. The problems and aspirations of today's Kabardians (eastern Circassians) are conceptualized by the compatriot-author giving the reader the opportunity to better understand the realities of this part of the North Caucasus which in many ways are still terra incognita for us.

Poetry

Olesya Nickolaeva's poems are about the existential choice which is to be made by "us sophisticated both in the high and in the mean" without the right to mistake — otherwise "everything will be useless and starless". The memory brings Vera Zubareva back home, to her native town which is impossible not to love because "all roads lead to Odessa whatever Rome would tell". But still "memory is not a stone, — is sure the debutant of DN Natalya Beloedova from Tashkent, — though I can't remember the faces..." Evgenij Stepanov on the contrary keeps the dear faces in his memory and confesses his love and gratitude to his family, to the books and grasses, to the earth and the heaven.

Vassil Bickov 100+

He hated the war and was writing about it all his life. But his books "Sotnikov", "The Immediate Attack", "No Pain for the Dead", "The Sign of Trouble" are not about the past only. He was writing about us of back then and us of today. "Very much depends on the ability to live with dignity in our complicated and troubled time... A human can stay a human and the humanity can survive only if the human conscience will be up to the mark".

For the centennial of Vassil Bickov under the heading "The Golden Pages of DN" we publish some chapters from his autobiographic book "The Long Way Home" and fragments of the long short story "The Sign of Trouble".

Evgenij Abdullaev under the heading The Literary Barometer

"Many articles are written and debates held about it. At the last spring *Non-Fiction* Moscow book fair even the public-talk *How the Women Are Changing the Modern Literature* took place. It turned out that they really are changing it. My task is more modest: not all the women but only the young ones who debuted quite recently. How do they reflect today's social and other realities? What is the new protagonist who comes into literature with them?" In the author's spotlight — five personages, five life stories, five ways of self-realization, five models of the family and relationships with the opposite sex — in many ways similar to each other. "I have no wish either to criticize them or to much empathize, - confesses the author. — Maybe because there is not much love and empathy in themselves".

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»  
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**  
<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>

Подписной индекс в каталоге **Почты России** — **ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте  
<http://дружбанародов.com>

Журнал продаётся в магазине «**Фаланстер**»

Москва, ул. Тверская, 17

(вход с Малого Гнездиновского переулка)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ  
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»





## По страницам «ДН»

*«Андрей Рублёв», «Жертвоприношение», «Сталкер»... Во всех своих картинах Тарковский атакует христианскую веру цитатами из самого Евангелия... Взывает к слову Божьему, которое милосерднее, чем установления веры... <...> Бергман... Феллини... Всюду эта полемика, этот смысл... Но начинают её русские — Достоевский (Пушкинская речь), Толстой... Всё европейское, что просто бунтует и отменяет Бога, — это бунт подростков. Но у русского художника — и у Тарковского — это не бунт против Отца, а полная боли молитва, только лишь заступничество за людей перед Богом... Чтобы прервалось его молчание... Катастрофа христианской цивилизации приближается суровостью тех законов, по которым судит Бог человека — и должен, стало быть, человек себя по ним осудить. Но человек отворачивается, не верит... И накатывает вся эта мучительная разрушительная пустота безбожной свободы. Как бы всечеловеческого пьянства и свального греха... И вот этот уже почти возглас: снизойди ещё раз, пожалей, стань понятней и добрей!*

**Олег Павлов.**  
**«Мне тяжело в этом времени...»**  
**Из Дневника 1998-2008 годов**

**2019, №7**

